

---

# КАЗИМИРЪ БРОДЗИНСКІЙ

---

— Казимиръ Бродзинскій и его литературная дѣятельность (1791—1835). Изслѣдованіе кандидата К. И. Арабажина. Удостоено историко-филологическимъ факультетомъ Императорскаго университета св. Владиміра награды золотой медалью и преміи имени Н. И. Пирогова. Кіевъ, 1891.

---

Книги такого свойства, какъ настоящая, являются у насъ обыкновенно въ качествѣ диссертаций кандидатскихъ или магистерскихъ. Темы ихъ нерѣдко бываютъ заданными, какъ было и въ настоящемъ случаѣ: сочиненіе писалось на факультетскую тему, награждено медалью и преміей, то-есть мысль о разработкѣ даннаго сюжета принадлежитъ не самому автору, а его профессору. Выборъ темы въ такихъ случаяхъ указываетъ съ одной стороны научные взгляды самого профессора, съ другой—имѣетъ обыкновенно, такъ сказать, учебный, педагогическій характеръ: должна быть выбрана тема посильная, которою въ состояніи былъ бы овладѣть молодой ученый, въ первый разъ приступающій къ самостоятельной обработкѣ предмета. Обработка очень часто носитъ слѣды той школы, какую проходитъ молодой ученый: приступая къ работѣ, онъ обыкновенно остается еще слушателемъ своего профессора, отъ него знакомится съ тѣми научными требованіями, какія должны быть выполнены при разслѣдованіи даннаго вопроса, и является, какъ говорится, его „ученикомъ“. Мы, кажется, не ошибемся, предположивъ, что авторъ настоящей книги былъ такимъ ученикомъ Н. П. Дашкевича: тѣ же приемы внимательнаго осмотра предмета, то же стараніе поставить частный вопросъ въ связь съ широкими историческими явленіями, которыми обставлена была дѣятельность отдѣльнаго лица, то же широкое изученіе

литературы предмета. Остается только пожелать, чтобы больше являлось примѣровъ вліянія такой школы.

Изъ того, что мы сказали, понятенъ выборъ предмета. Для начинающаго ученаго должно было дать именно тому, которая была бы удобна для разработки въ сравнительно небольшой опредѣленный срокъ; тема частная, но для которой потребовалось бы въ то же время болѣе или менѣе широкое знакомство съ цѣлымъ историческимъ періодомъ, съ цѣлымъ разрядомъ общественныхъ или литературныхъ явленій. Казимиръ Бродзинскій для исторіи польской литературы представлялъ, безъ сомнѣнія, довольно удачную тему подобнаго рода: имя—въ свое время очень извѣстное въ польской литературѣ и даже у насъ; дѣятельность—совпадающая съ характернымъ историческимъ явленіемъ, именно борьбой классицизма и романтизма; время—еще довольно близкое, но и достаточно далекое для исторической оцѣнки, такъ какъ борьба, въ которой онъ принялъ участіе, уже завершилась. Въ результатѣ заданной факультетомъ темы явился трудъ, прекрасно исполненный, такъ что можно только пожелать его автору дальнѣйшаго примѣненія выработанныхъ приѣмовъ изученія—только бы на болѣе широкихъ историческихъ темахъ.

При всей пользѣ подобнаго рода научныхъ работъ онѣ напоминаютъ однако объ одномъ весьма серьезномъ недостаткѣ, какимъ страдаетъ наша литература въ этой области. Слишкомъ часто подобныя работы являются оазисами въ пустынь; слишкомъ часто такое изслѣдованіе, исполненное *lege artis*, по всѣмъ правиламъ искусства, остается одинокимъ эпизодомъ, не примыкающимъ къ чему-нибудь цѣлому. Отсутствіе общихъ сочиненій или такой же обстоятельной разработки какого-либо гораздо болѣе крупнаго по значенію лица, періода, бросается въ глаза. Къ счастью, у насъ имѣется обстоятельная исторія польской литературы Е. Д. Спасовича, но затѣмъ почти совсѣмъ отсутствуетъ детальная разработка какихъ-либо явленій польской литературы. На этотъ разъ Бродзинскому посчастливилось привлечь на себя вниманіе историка; но странно сопоставить это пріятное пріобрѣтеніе нашей исторической литературы съ отсутствіемъ столь же обстоятельной книги о польскихъ писателяхъ, имѣющихъ неизмѣримо болѣе высокое значеніе, чѣмъ Бродзинскій,—напримѣръ, о Мицкевичѣ, хотя бы даже просто въ видѣ перевода новѣйшей біографіи его, написанной Хмѣлевскимъ. Объ этомъ колоссальнѣйшемъ явленіи польской литературы у насъ есть только рядъ статей, затерявшихся въ старыхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ (едва ли притомъ не изъятыхъ изъ обращенія извѣстнымъ распоряженіемъ

графа Д. А. Толстого), статей, теперь, конечно, недостаточныхъ и устарѣвшихъ. Другія явленія польской литературы, хотя не столь первостепенныя, но все-таки несравненно болѣе важныя, чѣмъ дѣятельность Бродзинскаго, остаются также совершенно неизвѣстны въ нашей литературѣ. Всего найдется у насъ лишь нѣсколько отрывочныхъ работъ по польской литературѣ (какъ, напр., труды покойнаго Макушева), которыя только тѣмъ сильнѣе указываютъ на недостаточность нашего литературнаго запаса по данному предмету. Эта неравномѣрность, вообще отличающая нашу литературу о славянствѣ, является особенно прискорбною по отношенію къ литературѣ польской. Мы такъ давно и такъ фатально связаны съ польскимъ народомъ, что изученіе его исторіи и литературы могло бы быть для насъ не только дѣломъ простой любознательности, но и интересомъ общественнаго свойства, не только научной, но извѣстнаго рода нравственной обязанностью. Относительно исторіи Польши въ нашей литературѣ имѣется нѣсколько сочиненій, своихъ и переводныхъ, которыя могутъ дать понятіе о политическихъ судьбахъ народа; но по литературѣ, какъ мы говорили, русскій читатель ограниченъ лишь двумя, тремя книгами или слишкомъ общаго, или узкаго детальнаго характера. Между тѣмъ очевидно, что именно путемъ изученія литературы можетъ быть приобрѣтено пониманіе той внутренней жизни общества, въ которой кроются мотивы самой его политической дѣятельности. Можно относиться къ Польшѣ какъ угодно — или видѣть въ ней только непримиримаго врага, или желать примирить вражду между двумя народами, какъ нѣчто ненормальное и тягостное между племенами, живущими въ одномъ политическомъ союзѣ и во многомъ родственными. Въ томъ и другомъ случаѣ, изъ побужденій осмотрительности или по чувству справедливости, не говоря уже объ интересѣ научномъ, изученіе внутренней жизни общества было бы только желательно. Если при томъ мы настаиваемъ на славянскомъ призваніи Россіи (которое такъ спуталось въ послѣднее время), то одною изъ элементарныхъ потребностей должно было бы стать внимательное и безпристрастное изслѣдованіе тѣхъ историческихъ отношеній, какими создается современное настроеніе племенъ и обществъ. Если до сихъ поръ русско-польскія отношенія такъ смутны, то немалую долю въ этомъ занимаетъ взаимное незнакомство народовъ и обществъ между собою. Съ этой точки зрѣнія было бы желательно, чтобы историческія изученія направлены были на самые существенные вопросы польской исторіи, общественности и литературы. Эти существенные вопросы обыкновенно трактовали у насъ только въ

полемиическомъ тонѣ, въ разгарѣ политической борьбы, когда нѣтъ мѣста для спокойнаго изслѣдованія, и польскій вопросъ, несмотря на все то, что было о немъ писано, остается спорнымъ вопросомъ, возбуждающимъ страсти, но не находившимъ доселѣ спокойнаго, безпристрастнаго обсужденія, которому, однако, пора было бы, наконецъ, вступить въ свои права. Если нѣтъ этого съ нашей стороны, то понятно, что нѣтъ этого и съ другой стороны. Поляки привыкли встрѣчать съ нашей стороны только отношеніе враждебное; не мудрено, что это отталкиваетъ ихъ отъ такого же изученія Россіи, русской исторіи и литературы: можно думать между тѣмъ, что какъ изученіе русской исторіи помогло бы имъ понять серьезно отношенія къ сильному государству, съ которымъ ихъ связала судьба, такъ изученіе русской литературы открыло бы имъ во внутренней жизни русскаго народа инныя сочувственныя стороны, на которыхъ могла бы основаться и нѣкогда укрѣпиться нравственная солидарность. Мы не обольщаемся, что это могло бы случиться скоро; но думаемъ, что серьезная литература должна была бы по крайней мѣрѣ не забывать о существованіи этихъ вопросовъ, которымъ, быть можетъ, предстоитъ сдѣлаться насущными вопросами. При отсутствіи какихъ-либо другихъ способовъ выраженія общественной мысли, литература въ особенности или даже исключительно является выраженіемъ общественнаго мнѣнія и средствами для его воспитанія; потому она всего ближе могла бы поставить эти вопросы и по мѣрѣ возможности содѣйствовать ихъ разъясненію.

Въ самомъ дѣлѣ, не можетъ не показаться очень страннымъ, напримѣръ, то явленіе, что въ то время какъ русская литература начинаетъ возбуждать очень оживленный интересъ въ чуждой, долго смотрѣвшей на нее свысока, Европѣ, она продолжаетъ оставаться весьма посредственно извѣстной въ Польшѣ, въ предѣлахъ одного же государства, у народа единоплеменнаго, къ которому повидимому могла проникнуть всего скорѣе: такова сила политической отчужденности. Съ другой стороны, у насъ также довольно посредственно извѣстна литература польская. Только въ послѣдніе годы можно замѣчать болѣе оживленный интересъ къ польской литературѣ и нѣсколько именъ польскихъ писателей приобрѣли у насъ значительную извѣстность. Но этого, конечно, еще очень мало: къ намъ достигаютъ только немногія сравнительно произведенія въ силу своей беллетристической привлекательности (Сенкевичъ, Элиза Оржешко, Болеславъ Прусь, въ прежнее время нѣсколько романовъ Крашевскаго и т. п.; переведено и довольно много Мицкевича, кое-что изъ второстепенныхъ поэтовъ) и нельзя

думать, чтобы усвоеніе русской литературой этихъ немногихъ произведеній значительно расширило популярное пониманіе польской общественности. Нужно знакомство болѣе тѣсное и между прочимъ знакомство историческое.

Есть, къ сожалѣнію, одно явленіе въ складѣ нашихъ научныхъ работъ, которое повторяется и въ данномъ случаѣ: это — несоотвѣтствіе, почти даже противорѣчіе между потребностями нашего общественного образованія и интересами, такъ сказать, гелертерскими. Ученые специалисты сплошь и рядомъ не хотятъ знать этихъ потребностей общественного образованія и направляютъ свои труды на изслѣдованія, безъ сомнѣнія, нужные въ обществѣ обиходѣ науки, но дающія очень мало или даже совсѣмъ недоступныя для обыкновеннаго читателя и слѣдовательно для него въ данную минуту совершенно безполезныя или индифферентныя. Въ средѣ ученыхъ специалистовъ выработалось даже какъ будто намѣренное пренебреженіе къ тому, что можетъ въ данную минуту заинтересовать болѣшую массу публики: обратиться къ подобному вопросу считается какъ бы унижительнымъ для специальной науки; бываетъ и то, что книга, которая въ другомъ изложеніи могла бы быть доступна для обыкновеннаго читателя, какъ бы намѣренно пишется такъ, чтобы прочесть ее могъ только специалистъ: напримѣръ, изслѣдованіе начинается *ex abrupto*, уснащается массою мудреныхъ цитатъ и т. п.; по исторіи или исторіи литературы темы выбираются поближе къ XI—XII-му вѣку, чѣмъ къ XVIII и XIX-му, и темы послѣдняго рода у иныхъ считаются даже мало научными; объемъ самыхъ темъ берется иногда крайне тѣсный и т. д. Отсюда происходитъ то, что литература собственно ученая обособляется въ отдѣльную область, отгороженную отъ профановъ, а профаны, т. е. громадное большинство существующихъ читателей, съ своей стороны предоставляютъ ей пребывать въ ея одиночествѣ. Въ концѣ концовъ результаты этой научной работы входятъ въ общій запасъ образованія, но во всякомъ случаѣ гораздо медленнѣе и слабѣе, чѣмъ это могло бы быть при болѣшемъ вниманіи ученаго люда къ образовательнымъ интересамъ ихъ соотечественниковъ.

Откуда берется этотъ складъ нашей научной литературы? Онъ выросъ, конечно, изъ многихъ условий. Въ прежнее время, когда самая наука была вновь, ученая диссертация по необходимости оказывалась въ такомъ исключительномъ положеніи, недоступная малоприветованному большинству, существовавшая только для „факультета“, — но съ тѣхъ поръ, какъ это бывало такимъ образомъ, кругъ образованныхъ читателей, значительно

расширился; ученая книга, не абсолютно спеціальная, можетъ найти гораздо большее количество читателей и ученому спеціалисту стоило бы труда позаботиться нѣсколько о своемъ изложеніи, чтобы намѣренно не замыкать свой трудъ въ ограниченный кругъ спеціалистовъ. Далѣе, была, однако, и другая причина, создававшая такой стиль ученыхъ работъ: это была та общая причина, которая суживала размѣры нашихъ литературныхъ и ученыхъ вопросовъ слишкомъ тѣсными рамками цензуры. Остальной литературѣ предоставлялось бороться, какъ она знаетъ, съ внѣшними неудобствами такого положенія; для серьезной „науки“ полагалось какъ бы неприличнымъ вмѣшиваться въ эту борьбу, которая считалась даже будто бы мелкой и неподходящей для высокаго достоинства науки, — на дѣлѣ это была просто боязнь „факультетовъ“, какъ вѣдомствъ официальныхъ, вступать въ столкновенія съ вѣдомствомъ цензурнымъ, и эта боязнь прикрывалась болѣе или менѣе лицемѣрной ссылкой на „достоинство науки“, будто бы не долженствующей вмѣшиваться въ эфемерные интересы дня. На дѣлѣ, это было удаленіе отъ широкихъ задачъ истинной науки, и чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно припомнить, что въ дѣйствительности для нашей литературы, къ сожалѣнію, до сихъ поръ остается просто недоступенъ тотъ широкій горизонтъ, какой обнимаетъ современная наука европейская—историческая, философская, естественно-научная, теологическая. Въ концѣ концовъ въ средѣ спеціалистовъ образуется и укрѣпляется наклонность направлять свои труды именно только на частные вопросы науки, боязнь широкихъ обобщеній—подъ предлогомъ, что матеріалъ для нихъ еще недостаточно приготовленъ, хотя очевидно, что накопленію и обработкѣ матеріала никогда не будетъ предѣла. На дѣлѣ происходитъ опять другое: научныя силы мельчаютъ въ установившейся рутинѣ, и въ погонѣ за спеціализаціей ослабѣваетъ самый интересъ и способность къ обобщенію, въ которыхъ и заключается двигающая сила науки. Сравнивъ современное положеніе нашей научной литературы съ тѣмъ, что представляетъ литература европейская, мы будемъ поражены именно этимъ радикальнымъ различіемъ: въ то время, какъ послѣдняя ставитъ самыя широкіе, сложные и трудные вопросы знанія, мы только изрѣдка отмѣчаемъ со стороны эти подвиги научной мысли и плетемся за той или другой научной школой, въ образованіи которой не участвовали. Исключенія очень рѣдки.

Понятно, что такое положеніе нашей научной литературы, создаваемое, какъ мы замѣтили, между прочимъ и общими условіями нашего просвѣщенія, не можетъ быть измѣнено одною доб-

рою волею самихъ дѣятелей нашей науки; но мы указывали также, что до извѣстной степени участвовала здѣсь и эта добрая воля, собственная боязнь затрогивать широкіе вопросы науки, боязнь внѣшнихъ трудностей и также той работы, какой должно быть, конечно, несравненно больше для крупной задачи, чѣмъ для мелкой. При этомъ возникаетъ еще одна особенность нашей литературы, весьма неполезная для общихъ успѣховъ нашего просвѣщенія. Большинство нашихъ ученыхъ становится въ ряды тѣхъ безчисленныхъ спеціалистовъ, какими исполнена западная научная литература, особливо нѣмецкая; но тамъ кромѣ этихъ спеціалистовъ, какъ бы заранѣе обрекающихъ себя на мелкую предварительную разработку матеріала или на детальное развитіе ученій, выставляемыхъ вождями науки, есть и эти вожди, — конечно, умы первостепенной силы, но вмѣстѣ и великіе труженики; есть это стремленіе обнимать цѣлый составъ научнаго знанія въ извѣстной области и вести впередъ органическое развитіе науки. У насъ, къ сожалѣнію рѣдки примѣры и этого неутомимаго труда, и этого стремленія къ общимъ вопросамъ научнаго знанія. Но у насъ именно прибавляется обстоятельство, свойственное положенію всей нашей образованности, и съ нимъ обязанность, отъ которой можетъ считать себя свободнымъ спеціалистъ западный, а именно: наука обладаетъ у насъ несравненно мѣньшими личными силами, и ученый спеціалистъ, кромѣ тѣхъ детальныхъ изслѣдованій, на какія вызываетъ его личный вкусъ и положеніе научныхъ задачъ, обязанъ совершать и такія работы, которыя способствовали бы установленію цѣлой науки въ нашей литературѣ. Спеціальныя работы получаютъ смыслъ въ литературѣ только тогда, когда онѣ могутъ примѣнить къ цѣльнымъ изложеніямъ предмета. Такъ это и бываетъ въ западной литературѣ, столь богатой цѣльными систематическими изложеніями разныхъ отраслей науки, руководствами, компендіями, спеціальными энциклопедіями и т. д., надъ которыми трудятся не только второстепенные, но и первостепенные ученые и періодическая смѣна которыхъ вводитъ неофита въ данное положеніе научной разработки. Въ присутствіи этихъ трудовъ общаго характера спеціальная разработка предмета идетъ совершенно логически, примыкая къ извѣстному цѣлому; наша литература, напротивъ, чрезвычайно бѣдна подобными трудами. Если появляются въ ней такіе общіе курсы, научныя системы, руководства, то всего чаще только переводныя и всего чаще принадлежащія не официальнымъ или спеціальнымъ представителямъ науки, а постороннимъ любителямъ, которые бывають болѣе отзывчивы къ потребностямъ общественнаго образованія или даже

къ нуждамъ самихъ учащихся. Довольно значительная масса подобныхъ сочиненій, появившихся у насъ въ послѣднее время, обязана своимъ происхожденіемъ именно не инициативѣ главнѣйшихъ нашихъ ученыхъ, а заботамъ не-спеціалистовъ и любителей. Понятно, что при участіи спеціалистовъ подобныя изданія могли бы появляться въ болѣе совершенномъ видѣ; а во многихъ областяхъ науки такіе общіе труды и совсѣмъ отсутствуютъ. Наконецъ, лучшая постановка этого дѣла имѣла бы и другую важность: число людей, посвящающихъ себя спеціальнымъ работамъ въ области науки, очевидно, находится въ связи съ общою цифрой людей образованныхъ; чѣмъ больше распространены научныя познанія въ массѣ общества, тѣмъ болѣе можно ожидать распространенія научнаго интереса и тѣмъ болѣе изъ среды образованныхъ людей можетъ выдѣлиться самихъ спеціалистовъ.

На эти мысли нерѣдко можетъ наводить появленіе въ нашей ученой литературѣ спеціальныхъ трудовъ, не имѣющихъ такого цѣлаго, къ которому они могли бы логически примкнуть. Не говоря о множествѣ другихъ примѣровъ, таковы бываютъ въ особенности появляющіеся у насъ труды по славянской исторіи и литературѣ—отдѣльные эпизоды изъ сербской или чешской, болгарской и т. п. исторіи и литературы, непременно древней, когда въ нашей литературѣ не имѣется никакой собственной книги по цѣлой сербской, чешской, болгарской исторіи. Книги подобнаго рода по необходимости остаются интересны и доступны только для тѣснаго круга спеціалистовъ, остаются памятникомъ учености ихъ авторовъ и только въ очень отвлеченномъ смыслѣ, какъ говорится, „обогащаютъ“ литературу. И въ то же время слышатся жалобы, что общество мало поддерживаетъ эту научную литературу. Ненормальность положенія выходитъ очевидная. Къ такого рода книгамъ можетъ присоединиться и названное сочиненіе о Казимирѣ Бродзинскомъ. Какъ мы сказали, о польской литературѣ у насъ есть только одно сочиненіе, написанное г. Спасовичемъ, труды котораго впрочемъ на половину принадлежатъ той же польской литературѣ. Но затѣмъ польская литература въ ея основныхъ историческихъ явленіяхъ остается у насъ почти неизвѣстной. Когда при этомъ положеніи вещей русскій читатель получаетъ неожиданно обстоятельное изслѣдованіе объ одномъ изъ второстепенныхъ польскихъ писателей, онъ можетъ придти въ справедливое недоумѣніе: нужно ему это изслѣдованіе, или онъ можетъ пока спокойно обойтись безъ него, когда у него нѣтъ хотя бы менѣе обстоятельныхъ книгъ о гораздо болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и дѣятеляхъ польской литературы? Книга

произошла изъ упомянутого гелертерскаго направленія науки, а не изъ живой потребности общественнаго образованія: она была именно отвѣтомъ на заданную тему.

Это впрочемъ нисколько не мѣшаетъ ей имѣть свои немалыя достоинства, и она приобрѣла бы еще больше значенія, еслибъ была началомъ цѣлаго ряда изслѣдованій о польской литературѣ: для нея нашлось бы тогда логическое мѣсто. Въ качествѣ диссертациі, старательно выполненной, книга г. Арабажина страдаетъ, быть можетъ, другой неравномѣрностью: излишествомъ подробностей, которыя по свойству темы могли бы быть изложены болѣе сжато. Книга распадается на слѣдующіе отдѣлы: въ обширномъ введеніи авторъ излагаетъ литературу предмета, т.-е. перечисляетъ все, что было писано о Бродзинскомъ, и важное, и еще болѣе неважнаго; затѣмъ слѣдуетъ біографическій очеркъ; далѣе наиболѣе обширный отдѣлъ посвященъ „міровоззрѣнію“ Бродзинскаго, а именно его литературнымъ взглядамъ, его положенію въ спорѣ между классиками и романтиками и его взглядамъ общественнымъ, философскимъ и эстетическимъ; далѣе, въ отдѣльных главахъ Бродзинскій характеризуется какъ поэтъ, какъ этнографъ и славянофилъ, изображается его дѣятельность педагогическая и ученая, наконецъ опредѣляются его сочиненія масонско-мистическія.

Такъ какъ тема сочиненія была дана извнѣ, то автору не пришлось объяснять, почему дѣятельность Казимира Бродзинскаго могла потребовать спеціальнаго изученія. Основаніе къ выбору темы заключалось, безъ сомнѣнія, въ томъ, что Бродзинскій издавна имѣлъ въ польской литературѣ большое имя: въ немъ цѣнили поэта, который былъ предшественникомъ романтической школы, ученаго критика, наконецъ писателя, принадлежавшаго къ числу польскихъ славянофиловъ 20-хъ и 30-хъ годовъ и вызывавшаго къ изученію народности и народной поэзіи. По всѣмъ этимъ отношеніямъ выводъ нашего автора былъ скорѣе отрицательный, нежели положительный: изучивъ весьма внимательно факты ученой и литературной дѣятельности Бродзинскаго, г. Арабажинъ пришелъ къ заключенію, что дѣятельность Бродзинскаго, какъ поэта, ученаго критика, этнографа, далеко не отличалась тѣми достоинствами, какія приписывались ей почти неизмѣнно польскими историками.

„Быть можетъ,—пришлось автору говорить въ предисловіи,—кому-нибудь личность Казимира Бродзинскаго, въ моемъ освѣщеніи, покажется малозначительной и не заслуживающей того вниманія, которое я ему удѣляю. Но прежде всего не слѣдуетъ

забывать, что въ изученіи литературной эволюціи переходная пора важна не менѣе эпохъ наибольшаго расцвѣта литературы, а Казимиръ Бродзинскій именно и является типическимъ представителемъ такой переходной эпохи, въ которой на ряду съ чертами прошлаго кроются въ зародышѣ всѣ элементы новаго литературно-общественнаго и художественнаго настроенія. Біографія Бродзинскаго и анализъ его произведеній непрерывной цѣпью связуютъ изученіе новой польской литературы съ ея прошлымъ. Въ этомъ смыслѣ изученіе Бродзинскаго представляетъ интересъ, увеличивающійся еще въ виду того обстоятельства, что и на самомъ Бродзинскомъ, и на его времени можно подробно прослѣдить вторженіе въ польскую литературу западно-европейскихъ идей и настроеній (преимущественно періода *Sturm und Drang*) и ихъ своеобразное претвореніе на мѣстной славянской почвѣ. Въ польской наукѣ и критикѣ значеніе Бродзинскаго, какъ кажется намъ, нѣсколько приподнято, преувеличено; но и въ этомъ отношеніи изученіе его дѣятельности можетъ доставить рядъ весьма небезъинтересныхъ выводовъ. Наконецъ время Бродзинскаго для русской науки представляетъ особый интересъ потому, что на почвѣ, создавшей и отчасти созданной Бродзинскимъ, выросла и расцвѣла довольно многочисленная группа поэтовъ такъ-называемой польско-украинской школы. Всѣ эти обстоятельства придаютъ особенное значеніе постановленной историко-филологическимъ факультетомъ темѣ по исторіи богатой талантами польской литературы, достаточнымъ знакомствомъ съ которой, къ сожалѣнію, не можетъ еще похвалиться русское славяновѣденіе“.

Бродзинскій (1791—1835) былъ уроженцемъ польской Галиціи. Его первое дѣтство прошло въ деревенской обстановкѣ, въ небольшомъ помѣстьѣ его отца; но дѣтство это было до крайности печальное: онъ рано потерялъ мать и, когда отецъ его женился во второй разъ, Бродзинскому пришлось встрѣтить одинъ изъ самыхъ ужасныхъ типовъ мачихи. Это была еще молодая, но страшно сварливая и просто злобная женщина, буквально выгонявшая изъ дому маленькаго мальчика, которому, не находя защиты у отца, приходилось спасаться и просто жить въ семьяхъ знакомыхъ крестьянъ, принимавшихъ участіе въ беззащитномъ ребенкѣ. Этою личною судьбой объясняется и характеръ его поэзіи.

„Тяжкія испытанія ранняго дѣтства наложили на всю жизнь Казимира Бродзинскаго особенную складку болѣзненной грусти и меланхоліи въ его характерѣ.

„Это меланхолическое, грустное настроеніе характеризуетъ и



его первыя поэтическія начинанія и объясняется исключительно грустными впечатлѣніями дѣтства, а не литературной манерой, считавшей меланхолію очень важнымъ условіемъ успѣха по литературнымъ понятіямъ начала этого вѣка.

„Грусть была у Бродзинскаго вполне искреннимъ настроеніемъ, а не подражательностью, какъ напр. у Карамзина и у другихъ писателей сентиментальнаго и сентиментально-романтическаго направленія.

„Тоска по матери, которой Казимиръ Бродзинскій и не могъ помнить, подсказала ему такія произведенія, какъ напр. „Элегія къ тѣни матери“ (1805); она же создала въ болѣзненно-развитомъ воображеніи мальчика какой-то полуфантастическій образъ неземнаго существа, ангела-хранителя, къ которому онъ не разъ обращался со слезами на глазахъ въ своихъ горячихъ дѣтскихъ молитвахъ. Даже въ болѣе позднемъ возрастѣ воспоминанія о матери, такъ преждевременно утраченной, приводили его въ неподдѣльное волненіе и вызывали чувства глубокой горести и отчаянія“.

Спасаясь отъ мачихи въ поля и лѣса и въ крестьянскія семьи, Бродзинскій съ дѣтства освоился съ крестьянскимъ бытомъ и это опять осталось не безъ вліянія на его характеръ, отношеніе къ народу и самую литературную дѣятельность.

„Знакомство съ крестьянами, постоянное пребываніе въ ихъ средѣ сдѣлало Казимира, по его собственному признанію, человѣкомъ робкимъ со всѣми тѣми, кто не принадлежалъ къ крестьянству, и отъ этой робости онъ не могъ исправиться даже въ зрѣломъ возрастѣ.

„Во всякомъ случаѣ радушіе и доброта крестьянъ внушили Бродзинскому чувства признательности и симпатіи къ простому люду, который *всѣхъ насъ поитъ и кормитъ, а придетъ война— онъ же проливаетъ за насъ кровь*“.

„Среди крестьянъ Бродзинскій познакомился съ народной поэзіей. Онъ съ жадностью внималъ рассказамъ своей няньки Розы и деревенскихъ бабъ о разныхъ „страхахъ“ и привидѣніяхъ, съ удовольствіемъ слушалъ сказки; все это при болѣзненно-развитомъ воображеніи не могло не наполнить его фантазіи образами страшныхъ чудовищъ, привидѣній, русалокъ, упырей, и такъ какъ умъ его былъ засоренъ всякаго рода предрассудками, то неудивительно, что все это развило въ характерѣ Бродзинскаго сильную пугливостъ, отъ которой онъ не могъ отдѣлаться въ теченіе всей своей жизни.

„Здѣсь мы вступаемъ уже въ область совершенно романти-

ческихъ условій развитія ребенка. Реакція просвѣтительнымъ идеямъ XVIII-го вѣка, вызвавшая то сложное настроеніе общества, которое мы называемъ романтизмомъ, направила нѣкоторую часть молодого поколѣнія въ комнату нянекъ и мамокъ, замѣнившихъ собою французовъ-воспитателей, и „здѣсь-то и зародилась, по мнѣнію Брандеса, настоящая романтическая поэзія“.

Впослѣдствіи, въ поэзіи Бродзинскаго занимаютъ важное мѣсто изображенія этого сельскаго быта, но общее направленіе литературы было еще такъ далеко отъ реальной простоты, что эти изображенія все еще сильно отзывались сантиментальной идилліей XVIII-го вѣка.

Школьная жизнь Бродзинскаго также была мало благопріятна. Ему пришлось учиться въ школахъ, устроенныхъ во времена Іосифа II и цѣлю которыхъ было распространеніе нѣмецкаго языка и австрійскаго патріотизма; патріотизмъ польскій и вліяніе польскихъ преданій странно перемѣшивались съ официальнымъ направленіемъ школы и нерѣдко ему уступали. Бродзинскій навѣрно подчинялся этому направленію, писалъ даже патріотическія стихотворенія въ австрійскомъ духѣ; человѣкъ чувства, онъ вообще былъ мало способенъ къ политическому возбужденію, подчинялся ближайшимъ вліяніямъ и въ большинствѣ случаевъ былъ оппортунистомъ, что въ разгарѣ политическихъ страстей не однажды приводило его въ столкновеніе съ патріотами болѣе рѣшительныхъ и именно революціонныхъ стремленій. Въ тревожные годы польской исторіи съ 1809 до 1814 Бродзинскій былъ также увлеченъ водоворотомъ событій, вступилъ даже въ ряды польской арміи и сдѣлалъ походъ 1812 года. Воинъ онъ былъ, конечно, плохой и, къ счастью, нашлись люди, которые обратили вниманіе на юношу, уже проявившаго поэтическую талантливость; ему дали занятія административнаго свойства и въ теченіе войны онъ могъ не прерывать своихъ литературныхъ упражненій. Счастливый случай состоялъ въ томъ, что на своей военной службѣ онъ попалъ подъ команду поэта Реклевскаго, который былъ кромѣ того другомъ старшаго брата Бродзинскаго, Андрея, также поэта. Реклевскій принадлежалъ къ школѣ классическихъ поэтовъ идиллическаго направленія и его вліяніе отразилось несомнѣнно на Бродзинскомъ, который въ это время близко съ нимъ сошелся. На войнѣ Бродзинскій потерялъ и своего брата, и Реклевскаго, убитыхъ въ 1812 году, и зимою 1813 года съ остатками Наполеоновской арміи прибылъ въ Краковъ съ чиномъ артиллерійскаго офицера, полученнымъ подъ Москвою; подъ Лейпцигомъ онъ былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ и отпущенъ на честное

слово, мирно прожилъ въ Польшѣ въ сельскомъ уединеніи до 1814 года, когда имп. Александромъ объявлена была амністія полякамъ, участвовавшимъ въ войнѣ противъ Россіи. Бродзинскій поселился въ Варшавѣ и остался тамъ навсегда. Въ первые годы онъ состоялъ на службѣ въ разныхъ административныхъ вѣдомствахъ, пока наконецъ въ 1821 году былъ приглашенъ профессоромъ литературы въ варшавскій лицей, а въ слѣдующемъ году приглашенъ былъ читать лекціи въ университетѣ.

Ученое образованіе Бродзинскаго было невелико. Его школа закончилась гимназіей; онъ былъ одно время вольнымъ слушателемъ краковскаго университета, но не получилъ никакой ученой степени. Вступленіе въ варшавскій университетъ въ качествѣ профессора сдѣлалось возможнымъ не по ученой правоспособности, а только по той репутаціи, какую получилъ онъ своими литературными трудами.

Біографъ подробно рассказываетъ по различнымъ сохранившимся даннымъ, какъ складывалась литературная дѣятельность Бродзинскаго, съ его первыхъ опытовъ, гдѣ большою опорой служили ему указанія старшаго брата, также имѣвшаго литературныя наклонности и издавашаго книжку стихотвореній, и образцы, какіе Бродзинскій находилъ въ произведеніяхъ своего старшаго сверстника и друга, Реклевскаго. Бродзинскій началъ писать очень рано; въ книжкѣ его брата Андрея, вышедшей въ 1807 году, помѣщено уже нѣсколько стихотвореній Казимира; въ гимназіи онъ уже обратилъ на себя вниманіе своими стихами. Поэзія его опредѣлилась съ самаго начала тѣми условіями личной жизни, о какихъ мы упоминали, и литературными вліяніями. Не имѣя правильного руководства въ этомъ послѣднемъ отношеніи, онъ много читалъ особенно нѣмецкихъ поэтовъ прошлаго вѣка и всего сильнѣе подѣйствовала на него псевдо-классическая идиллія въ стилѣ Геснера. Содержаніе его стихотвореній — или субъективная лирика, окрашенная меланхолическимъ настроеніемъ, или „сельскія пѣсни“, гдѣ сказалось вынесенное изъ дѣтскихъ лѣтъ любящее отношеніе къ крестьянству, но тѣмъ не менѣе получившее фальшиво-сентиментальный тонъ Геснеровской идилліи. Темы общественнаго характера у него отсутствуютъ или являются только подъ вліяніемъ данной минуты и окружающей среды. „Патріотизмъ Бродзинскаго, — говоритъ авторъ, — не шелъ дальше писанія стиховъ на родномъ языкѣ. Судьбы родного края, его прошлое были совсѣмъ неизвѣстны Бродзинскому; политикой онъ не занимался и не понималъ ея. Это доказывается, между прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что въ началѣ слѣдующаго 1809 года, за нѣ-

сколько мѣсяцевъ до вступленія польскихъ войскъ въ Галицію, Бродзинскій переводитъ стихотвореніе Коллина, проникнутое нѣмецко-австрійскимъ патріотизмомъ, и дѣлаетъ это по предложенію австрійскихъ властей“ (стр. 30). Впослѣдствіи онъ объяснялъ это тѣмъ, что стихотворенія Коллина были проникнуты духомъ патріотизма и сельскими картинами, и онъ не думалъ тогда о томъ, что это нѣмецъ писалъ противъ французовъ,—а къ французамъ обращены были тогда самыя горячія польскія сочувствія. „Что бы ни говорилъ Бродзинскій, — продолжаетъ авторъ, — но 18-лѣтній юноша долженъ бы лучше понимать современные политическія условія, еслибы дѣйствительность у него не была заслонена сентиментальнымъ туманомъ и его развитіе не стояло на такомъ низкомъ уровнѣ... Молодежь съ воодушевленіемъ произносила имена Костюшки, Дубровскаго и другихъ героев. Надежда на возстановленіе царства польскаго заставляла биться учащеннѣе не одно польское сердце, а въ это время Казимиръ Бродзинскій въ упоеніи успѣхомъ мечтаетъ о путешествіи въ Вѣну и казенной стипендіи въ высшемъ учебномъ заведеніи имени Маріи Терезіи“. Сдѣлавши переводъ стихотворенія Коллина, Бродзинскій вступаетъ въ томъ же году въ ряды польскаго войска, которое должно было уже вскорѣ сражаться рядомъ съ французами; въ армію онъ поступалъ опять не по собственной инициативѣ, а по убѣжденіямъ товарищей и „слѣдуя общему настроенію“. Понятно, что война его не увлекала. Отъ 1812 года сохранился отрывокъ его дневника. „Замѣчательно то,—говоритъ біографъ,—что во всѣхъ сохранившихся отрывкахъ изъ его дневниковъ мы совершенно не замѣчаемъ никакого патріотическаго пыла и воодушевленія. Напротивъ, всюду видимъ и читаемъ выраженія грусти, тоски, какое-то пассивное отношеніе къ совершающимся событіямъ. Ни одной бодрой, энергической мысли не высказываетъ онъ въ своихъ дневникахъ, но за то очень часто повторяются желанія, чтобы война скорѣе прекратилась; иногда встрѣчаются замѣтки о передвиженіи войскъ, о тѣхъ или другихъ военныхъ событіяхъ, но чаще Бродзинскій говоритъ о болѣе мирныхъ событіяхъ—о томъ, гдѣ и какъ принимали офицеровъ польской арміи, какія развлеченія были имъ доставлены у того или другого помѣщика и т. д.“ (стр. 38).

Разсматривая далѣе военно-патріотическія стихотворенія Бродзинскаго, написанныя подъ вліяніемъ Наполеоновскихъ войнъ, біографъ проводитъ параллель между ними и одновременными стихотвореніями Жуковскаго и Кёрнера и приходитъ въ нѣкоторый ужасъ отъ крайней бѣдности стихотвореній польскаго поэта.

Напримѣръ: „оба поэта (Кёрнеръ и Бродзинскій) сочиняли свои стихи въ одну и ту же пору, по однимъ и тѣмъ же поводамъ. Оба участвовали въ военныхъ походахъ 1812—1813 годовъ; оба бились за свободу и независимость своей родины; оба были молодые люди и даже однолѣтки (род. въ 1791 году); но какая огромная разница въ характерѣ ихъ творчества, въ ихъ настроеніи... Въ то время какъ стихи Кёрнера исполнены необыкновенной силы, энергіи, проникнуты глубокимъ чувствомъ, возвышенными стремленіями къ свободѣ, чести и независимости, стихотворенія Бродзинскаго кажутся какимъ-то разслабленнымъ сентиментально-меланхолическимъ лепетомъ“ (стр. 266).

Между прочимъ, „Бродзинскій тоже взываетъ къ Богу (какъ Кёрнеръ): „*Надо идти* сражаться, говоритъ онъ, потому что отцы (а не онъ самъ!) возложили на него это оружіе, чтобы сражаться съ врагами въ твоё, Господи, имя (а не за родину!)“. „Ты, говоритъ онъ дальше, страдалъ за цѣлый родъ людской; пусть же и я *пострадаю* за родной край, а ты, Господи, помоги мнѣ *терпѣливо* (не мужественно!) перенести *раны* (о смерти поэтъ не думаетъ!)“. Сколько пассивности и дряблой покорности судьбѣ сказывается въ этой молитвѣ Бродзинскаго!“ (стр. 268).

Биографъ не высокаго мнѣнія и о сельскихъ пѣсняхъ Бродзинскаго. Подробно пересмотрѣвъ ихъ, онъ замѣчаетъ: „Мы разобрали всѣ пѣсни, именуемыя крестьянскими, и не нашли ни одной, заслуживающей вниманія. Сентиментализмъ, ходульность, напыщенность — главные черты ихъ содержанія. Никакого движенія впередъ не видно въ этихъ стихотвореніяхъ... Народный элементъ въ нихъ ничтоженъ и выражается въ замѣнѣ по временамъ народныхъ именъ благозвучными народными названіями.

„*Заслугу* поэта можно видѣть, пожалуй, въ томъ, что онъ признавалъ въ крестьянинѣ человека и требовалъ въ своихъ „пѣсняхъ“ уваженія къ нему. Такое направленіе было, однако, слишкомъ еще неопредѣленно и поверхностно...

„Поэтическихъ достоинствъ сельскія пѣсни не имѣютъ, народный элементъ въ нихъ ничтоженъ и въ этомъ отношеніи хвалебные отзывы польской критики доказываютъ только, что ей и до сихъ поръ чужды дѣйствительное, здоровое пониманіе и знаніе народности и связанное съ нимъ чувство демократизма. На ея оцѣнкѣ фатальнымъ образомъ сказывается традиціонная неспособность польскаго общества глядѣть на народъ трезво, а не сквозь призму шляхетскихъ предрасудковъ. Историческое значеніе „сельскихъ пѣсенъ“ незначительно. Пѣсни Бродзинскаго, точно также какъ и пѣсни Реклевскаго, были очень скоро за-

быты и совершенно оттъснены уже къ 20-мъ годамъ новыми созданіями умственной жизни польскаго общества“<sup>1)</sup>.

Быть можетъ, впрочемъ, біографъ въ настоящемъ случаѣ нѣсколько нарушилъ историческую перспективу. Современники Бродзинскаго едва ли могли быть такъ требовательны, и относительно взгляда на народный бытъ поэтическія произведенія Бродзинскаго, вѣроятно, больше удовлетворяли современниковъ, чѣмъ могутъ они удовлетворять современнаго критика ихъ безотносительными свойствами. Въ личныхъ взглядахъ Бродзинскаго на сельскій бытъ присутствовало во всякомъ случаѣ весьма гуманное отношеніе къ польскому люду, о тягостномъ бытѣ котораго онъ упоминаетъ не однажды. Быть можетъ, въ его поэзіи чувствовалось то, что его сельскія пристрастія не были только книжной модой, но и искреннимъ чувствомъ, хотя неловко выраженнымъ.

Мы упоминали, что въ вопросахъ политическихъ Бродзинскій былъ человѣкомъ весьма индифферентнымъ, но когда извѣстное общественное настроеніе до него доходило и онъ отдавался его влиянію, это дѣлалось опять, вѣроятно, совершенно искренно, и онъ находилъ для него поэтическое выраженіе, которое способно было увлекать его читателей. Такъ самъ біографъ считаетъ начало литературныхъ успѣховъ Бродзинскаго отъ элегіи „На смерть Іосифа Понятовскаго“. „Перенесеніе смертныхъ останковъ національнаго героя,—говоритъ авторъ,—какъ извѣстно, было поводомъ къ шумнымъ манифестаціямъ, на которыя позволеніе было дано самимъ государемъ Александромъ I. Русскіе генералы съ Кутузовымъ во главѣ шли впереди торжественной процессіи. На смерть Понятовскаго отозвался стихотвореніемъ даже Беранже. На эту же тему писали: Мольскій, Нѣмцевичъ, Бродзинскій. „Интересно сравнить, говоритъ Дмоховскій, произведенія этихъ трехъ писателей. Стихи Мольскаго, какъ и всѣ почти его произведенія — простая холодная проза, разрубленная на стихи. Стихотвореніе Нѣмцевича имѣетъ прекрасные образы и дышетъ искреннимъ чувствомъ, но выше всѣхъ и по мыслямъ, и по формѣ выраженія ихъ—элегія Бродзинскаго. Съ увлеченіемъ прочитала изумленная публика это произведеніе, выдѣляющееся по глубинѣ чувства и задушевности тона, изобилующее новыми поэтическими выраженіями, чуждое громогласной напыщенности того времени“<sup>2)</sup>.

И однако это стихотвореніе написано было тотчасъ послѣ

<sup>1)</sup> Стр. 261, 262, 264, 265.

<sup>2)</sup> Стр. 268—269.

того періода военной жизни Бродзинскаго (1809—1814), который, по мнѣнію біографа, остался совершенно безплоденъ для его литературнаго образованія и художественнаго развитія. Дальше мы увидимъ, что Бродзинскому и еще не однажды случилось быть выразителемъ задушевныхъ мыслей лучшихъ людей или наиболѣе одушевленныхъ патріотовъ польскаго общества, когда біографъ находитъ у него только весьма малые успѣхи литературные и художественные.

Новый періодъ его дѣятельности біографъ считаетъ съ 1816 года, когда Бродзинскій, окончательно поселившись въ Варшавѣ, собственно говоря, въ первый разъ могъ отдаться своимъ литературнымъ занятіямъ, хотя, конечно, прерываемымъ службой. Въ это время онъ между прочимъ переводитъ Оссіана и Шиллера. Какъ мы выше упоминали, Бродзинскій учился въ нѣмецкой школѣ, но нѣмецкимъ языкомъ овладѣлъ онъ не скоро и знакомство съ нѣмецкой литературой приобрѣтено имъ только благодаря одному изъ учителей, нѣмцу Шмидту, профессору реторики, который, обративши вниманіе на даровитаго юношу, познакомилъ его со многими произведеніями тогдашней нѣмецкой литературы, не только съ Гагедорномъ и Уцомъ, но также и съ Виландомъ, Шлегелемъ и Гёте. Біографъ, говоря о переводахъ Бродзинскаго, замѣчаетъ, что онъ однако не умѣлъ вполне понять Шиллера; на это опять можно было бы замѣтить, что полное пониманіе Шиллера, поэта другого общества, стоявшаго на гораздо болѣе высокой ступени просвѣщенія, едва ли кому-нибудь могло быть доступно въ тогдашнемъ обществѣ польскомъ, складъ котораго вообще не отвѣчалъ этому уровню. Такимъ же образомъ не понималъ вполне Шиллера, напримѣръ, и тотъ русскій поэтъ, переводы котораго считаются классическими. Если у насъ, однако, переводы Жуковскаго считались большой литературной заслугой, то такое же сужденіе примѣнимо и къ Бродзинскому. Замѣтимъ притомъ, что біографъ, сличивши нѣкоторые общіе переводы изъ Шиллера у того и другого, находитъ, что переводы польскаго писателя вообще отличаются гораздо большею точностью и болѣе поэтическою передачею подлинника <sup>1)</sup>.

Въ самыхъ идиллическихъ стихотвореніяхъ, опять судимыхъ біографомъ очень строго, онъ находитъ „милое, граціозное, а также и реальное“ и приводитъ, хотя съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, отзывъ современнаго критика, Дмоховскаго, который не всегда былъ расположенъ къ Бродзинскому: „Кто не увидитъ въ

<sup>1)</sup> См. эти сличенія на стр. 277—282.

„Вѣславъ“ (главная сельская поэма Бродзинскаго),—писалъ Дмоховскій,—вѣрнаго изображенія народа? Кому не понравится та простота, которой дышетъ эта идиллія? Кто же не будетъ признателенъ автору за то, что онъ въ своихъ пѣсняхъ сохранилъ способъ выраженія чисто польскій и сельскій, и въ то же время милый и благородный,—достоинство, которое встрѣчается теперь такъ рѣдко“ (стр. 312). Если рѣчь идетъ не объ абсолютной оцѣнкѣ писателя, а объ опредѣленіи его историческаго значенія, что и требуется въ настоящемъ случаѣ, сужденіе и не можетъ быть иное кромѣ относительнаго, и подобные отзывы современниковъ именно указываютъ, чѣмъ онъ былъ для нихъ, слѣдовательно, въ чемъ состояла его историческая заслуга,—какъ бы мы ни судили о немъ по нашимъ нынѣшнимъ понятіямъ и нынѣшнему вкусу.

Въ изложеніи біографа мы постоянно встрѣчаемся съ двойственными фактами подобнаго рода. Повидимому, тѣ хвалебные отзывы, какіе встрѣтилъ онъ относительно Бродзинскаго у историковъ польской литературы, и которые не оправдывались непосредственными впечатлѣніями его собственнаго изученія, вообще настроили біографа къ отрицательному взгляду, но, какъ намъ кажется, авторъ отчасти утерялъ при этомъ историческую перспективу. Для того, чтобы судить о Бродзинскомъ правильнѣе, автору слѣдовало бы только придать нѣсколько больше значенія тѣмъ указаніямъ о состояніи литературнаго образованія, какія имъ самимъ собраны. Крайне неблагопріятныя политическія условія, въ какихъ находилось польское общество конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, отразились упадкомъ образованія и литературныхъ вкусовъ. Творческая дѣятельность почти прекратилась,—говоритъ авторъ,—поэтамъ оставалось лишь предаваться грустнымъ лирическимъ изліяніямъ „на гробъ своей родины“; краснорѣчіе, достигшее въ предшествующую пору высокой степени совершенства, скромно пріютилось теперь на церковной каедрѣ; небольшая кучка ученыхъ, отдавшихъ изученію родной старины и совершенно чуждыхъ вліяніямъ западно-европейскимъ, не имѣла публики, съ которой могла бы дѣлиться своими изслѣдованіями и въ свою очередь пользоваться ея поддержкой. Кругъ читателей въ эту пору все болѣе и болѣе суживался, а литература и наука постепенно утратили всякое значеніе и цѣнность. „Чтобы считаться ученымъ и литераторомъ, въ то время немного требовалось: поверхностное знакомство съ французской литературой, обладаніе небольшою библіотекой, подписка на „Pamiętnik Warszawski“ давали каждому право на лестное званіе литератора. Кто

написаль гладкими стихами одну-другую басню, перевелъ французское стихотвореніе, считался уже поэтомъ; переводъ цѣлой трагедіи и постановка ея на сценѣ давали счастливцу званіе великаго стихотворца“.

Наполеоновскія войны пробудили польское общество изъ этой апатіи; нѣсколько лѣтъ занято было патріотическимъ возбужденіемъ; паденіе Наполеона смѣнило этотъ энтузіазмъ крайней ненавистью къ французамъ, но затѣмъ великодушіе императора Александра I снова подняло духъ поляковъ и съ основаніемъ царства польскаго началась въ литературѣ оживленная дѣятельность. Въ Варшавѣ постепенно сосредоточились литературныя силы и началась усиленная работа, и затѣмъ другіе подобные центры образуются во Львовѣ, въ Вильнѣ, Кременцѣ<sup>1)</sup>.

Съ этого времени, какъ мы видѣли выше, и Бродзинскій дѣятельнымъ образомъ выступаетъ впервые на литературное поприще. Очевидно, что значеніе его трудовъ должно измѣряться въ соотношеніи съ той исторической обстановкой, въ какой они совершались и какую изобразилъ здѣсь самъ его біографъ.

Бродзинскій съ этого времени писалъ очень много, и одна изъ статей, которая произвела тогда большое впечатлѣніе, была посвящена вопросу, который становился въ то время предметомъ жесточайшихъ споровъ. Это былъ вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ. Біографъ даетъ понятіе о томъ, какъ стоялъ этотъ вопросъ въ литературѣ европейской, и объясняетъ, какія стороны европейскаго романтизма могли найти мѣсто въ польской литературѣ. Очевидно, что здѣсь, какъ въ то же самое время въ русской литературѣ, вслѣдствіе различія всѣхъ условій историческаго быта и просвѣщенія могли отразиться лишь нѣкоторыя стороны романтизма западнаго. Въ польской литературѣ (опять также какъ въ русской) это былъ во всякомъ случаѣ шагъ впередъ, такъ какъ романтизмъ, во-первыхъ, сильно расширялъ знакомство съ литературами европейскими, и во-вторыхъ, устранялъ стѣснительныя рамки, въ которыхъ держался старый псевдо-классицизмъ. Съ романтизмомъ впервые могъ въ значительной мѣрѣ войти въ литературу элементъ народности, едва признаваемый или не признаваемый совсѣмъ въ старой школѣ. Въ тогдашней польской литературѣ романтизмъ получилъ еще новый оттѣнокъ по особеннымъ условіямъ политической и общественной жизни того времени. Первое увлеченіе тѣми конституціонными учрежденіями, которыя далъ Польшѣ императоръ Александръ, стало

<sup>1)</sup> Стр. 96—102.

проходить уже скоро; въ обществѣ появлялось недовольство, которое мало-по-малу стало принимать характеръ чисто революціонный, и за невозможностью открытаго политическаго протеста споръ между консервативною и радикальною частью общества выразился въ литературѣ возстаніемъ романтиковъ противъ устарѣлой литературной школы, которая дѣйствительно совпадала съ умѣренно-консервативными политическими мнѣніями. Именно въ то время, когда шло это броженіе, появилась статья Бродзинскаго о классицизмѣ и романтизмѣ (1818). Біографъ указываетъ, что и на этотъ разъ слава, какою пользовалась эта статья, была не совсѣмъ заслуженная, что вопросъ раньше былъ поднималъ другими и что Бродзинскій сказалъ въ своей статьѣ нѣчто неясное и нерѣшительное. Дѣйствительно, положеніе, занятое въ этомъ спорѣ Бродзинскимъ, было нѣсколько неопредѣленное: онъ хочетъ стать на серединѣ между двумя направленіями. Самъ онъ дѣйствительно воспитался на классицизмѣ съ его опредѣленными, узкими, но выработанными формами; къ романтизму его привлекалъ инстинктъ, указывавшій въ немъ болѣе широкій просторъ для поэтической фантазіи и для народнаго элемента, но изъ-за Шиллера и Гёте (изъ послѣдняго онъ перевелъ „Вертера“) онъ не хотѣлъ уступить Расина; наконецъ, когда за рѣзкими требованіями романтиковъ можно было угадывать политическій либерализмъ, онъ не усомнился возставать противъ „либераловъ и демагогов“. Говоря вообще, трудно было бы, пожалуй, увидѣть въ этихъ мнѣніяхъ Бродзинскаго предшествіе романтизма и въ немъ его предтечу. Біографъ опровергаетъ такой взглядъ польскихъ литературныхъ историковъ цѣлымъ рядомъ указаній, гдѣ такое значеніе Бродзинскаго вовсе не подтверждается фактами. Такъ, напримѣръ, Бродзинскій порицалъ произведенія Гоцинскаго и Мальчевскаго и „само собою разумѣется,—говоритъ біографъ,—что между авторомъ идиллическаго „Вѣслава“ и творцами байроническихъ поэмъ, какъ „Марія“ и „Каневскій Замокъ“, не могло быть ничего общаго“. Или: „не подлежитъ сомнѣнію, что Бродзинскій не сочувствовалъ Мицкевичу и не понималъ его произведеній. О его сонетахъ Бродзинскій даетъ весьма пренебрежительный и то сдѣланный какъ бы вскользь отзывъ“. Весьма ограничено было его вліяніе даже на Залѣскаго, который изъ всей новой поэтической школы стоялъ къ нему всего ближе <sup>1)</sup>. Но несмотря на все это оказывается, что Бродзинскій пользовался и въ то время, и особливо потомъ великимъ уваженіемъ

<sup>1)</sup> Стр. 73, 74, 372 и др.

у романтиковъ, отъ которыхъ онъ былъ повидимому такъ далекъ и къ которымъ въ прежнее время относился даже прямо враждебно и въ общественномъ, и въ литературномъ отношеніи. Объясненія этому надо искать опять въ общемъ положеніи тогдашней литературы и въ личнѣхъ свойствахъ Бродзинскаго, какъ человѣка и писателя. Относительно молодой романтической школы Бродзинскій былъ человѣкъ старшаго поколѣнія, но онъ былъ все-таки ближе къ ней, чѣмъ тѣ настоящіе столпы консервативнаго классицизма, для которыхъ, напримѣръ, произведенія начинавшаго Мицкевича были только „глупостью и мерзостью“. Бродзинскій при всей наклонности къ старому вкусу умѣлъ однако отнестись къ романтизму гораздо спокойнѣе, самъ косвенно ему содѣйствовалъ и своей собственной сельской поэзіей, и переводами изъ нѣмецкихъ и англійскихъ романтиковъ и, какъ увидимъ, своими историко-литературными и критическими трудами. Наконецъ, при всѣхъ его теоретическихъ ошибкахъ, въ немъ нельзя было не видѣть писателя съ искренними убѣжденіями: иного въ стремленіяхъ новаго поколѣнія онъ не понималъ; онъ не раздѣлялъ ни литературнаго, ни политическаго либерализма, но когда, какъ бывало прежде, извѣстная общественная идея доходила и до него, его чувство находило одушевленное поэтическое выраженіе, которое восхищало и самихъ романтиковъ. Впослѣдствіи, онъ восхищался и произведеніями Мицкевича.

Мы упомянули объ его историко-литературныхъ трудахъ. По количеству написаннаго имъ, работы этого рода представляютъ наибольшую массу его труда. По обширности своего чтенія онъ былъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ образованнѣйшихъ людей тогдашняго польскаго литературнаго круга.

„Его способность къ работѣ по истинѣ поразительна, — говоритъ біографъ; — при той ограниченности времени, какое онъ могъ удѣлять чтенію европейской литературы, становится просто непонятнымъ, когда и гдѣ Бродзинскій могъ пріобрѣсти столь значительныя познанія въ этой области. Онъ былъ знакомъ со всѣми произведеніями французскихъ и нѣмецкихъ ложно-классиковъ и переводилъ отрывки изъ нихъ; кромѣ Корнеля, Расина, Вольтера, онъ читалъ Мольера. Изъ нѣмцевъ, кромѣ Геснера, ему извѣстны и онъ часто упоминаетъ Галлера, Гагедорна, Уца, Виланда, съ которыми познакомился еще въ Тарновѣ. Въ своемъ курсѣ литературы Бродзинскій посвящаетъ отдѣльную главу очерку литературной дѣятельности Петрарки, Боккачіо, Данте; изъ англійскихъ писателей ему извѣстны: Стернъ, Гольдсмитъ, Грей, Оссіанъ, Вальтеръ-Скоттъ.

„Въ его сочиненіяхъ мы находимъ отдѣльныя статейки и замѣчанія о Тассо, Мильтонѣ, Лафатерѣ, Драйденѣ, Вальтеръ-Скоттѣ, Петраркѣ и нѣкоторыхъ другихъ писателяхъ новыхъ и среднихъ вѣковъ.

„Всего болѣе былъ знакомъ Бродзинскій съ нѣмецкой литературой: писатели „Sturm und Drangperiode“; произведенія Лессинга, Гердера, Шиллера, Гёте были хорошо ему извѣстны... Изъ иностранныхъ ученыхъ Бродзинскій часто ссылается въ своихъ работахъ на имена братьевъ Шлегелей, Лессинга, Шеллинга, Канта, Ж.-П. Рихтера, Вернера, Мюллера, Грильпарцера, Картмеръ-Кэнси, Баумгартена, Вильмена, Зульцера, Винкельмана, Гердера, Дроза, Сисмонди, Фререта, Шлёцера...

„Древне-классическую литературу, въ особенности римскую, Бродзинскій зналъ основательно...

„Изъ новыхъ языковъ Бродзинскій зналъ основательно нѣмецкій и французскій, а переводы произведеній англійскихъ, по всей вѣроятности, онъ дѣлалъ не съ подлинника. Славянскіе языки почти всѣ были настолько ему извѣстны, что онъ могъ дѣлать переводы пѣсенъ; зналъ ли онъ русскій языкъ, и сколько велики были познанія въ немъ, мы сказать не можемъ“ <sup>1)</sup>.

Но рядомъ съ этимъ біографъ указываетъ у Бродзинскаго крайній недостатокъ поэтической и теоретической самостоятельности: „Какъ поэтъ, онъ былъ человѣкомъ очень мало наблюдательнымъ и вынесъ изъ жизни весьма небольшой запасъ художественныхъ образовъ и впечатлѣній; какъ ученый и какъ критикъ, онъ обнаруживаетъ весьма ничтожную оригинальность. Въ своихъ научныхъ и критическихъ работахъ Бродзинскій обыкновенно слѣдовалъ тому или другому европейскому образцу, но такъ какъ времени и развитія у него не хватало для того, чтобы углубиться, уразумѣть изучаемаго писателя, то и сказывается во всѣхъ его произведеніяхъ одна и та же любопытная черта: вопросъ трактуется всегда поверхностно, авторъ избѣгаетъ философскихъ абстракцій, которыя ему кажутся туманной метафизикой; онъ стремится стать на практическую почву, благодаря чему его статьи выигрываютъ въ популярности, но много теряютъ въ содержательности и вѣрности сужденій, подчасъ совершенно искажающихъ подлинникъ. Такъ, напр., переработано Бродзинскимъ разсужденіе Шиллера: „Ueber naïve und sentimentalische Poësie“, совершенно утратившее въ передѣлкѣ Бродзинскаго свой философскій глубокомысленный характеръ; другое разсужденіе Шил-

<sup>1)</sup> Стр. 65—67.

лера „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“, было совершенно непонято и даже извращено Бродзинским... Статья Гердера, переведенная Бродзинским, подверглась такимъ же измѣненіямъ, равно какъ и знаменитая статья Шеллинга „Ueber das akademische Studium“... Въ своемъ курсѣ стилистики, онъ пользовался преимущественно трудомъ Аделунга „Ueber den deutschen Styl“; въ курсѣ эстетики цѣлая глава „О возвышенномъ и прекрасномъ“ есть почти дословный переводъ изъ Канта „Ueber das Schöne und Erhabene“... Многія размышленія Бродзинскаго о нѣмцахъ и романтизмѣ навѣяны книгой m-me de Staël „De l'Allemagne“; его сужденія о Шекспирѣ и даже цѣлыя отрывки заимствованы у Шлегеля. Увлеченіе Оссіаномъ, интересъ къ народной поэзіи—дѣло вліянія Гердера... Даже въ работахъ по исторіи польской литературы проявляется та же несамостоятельность ума Бродзинскаго... все дѣленіе исторіи польской литературы на періоды заимствовано имъ изъ почтеннаго труда Бентковского“ (стр. 64—65).

Эта несамостоятельность не представляетъ ничего удивительнаго. Бродзинскій не былъ умъ теоретическій; высшей школы, какъ мы видѣли, онъ не имѣлъ никакой; полный самоучка въ изученіи литературы, эстетики, философіи, онъ просто не былъ достаточно вооруженъ въ научномъ отношеніи, чтобы достигнуть самостоятельности, о которой говорить его біографъ. Напротивъ, надо удивляться и тому, что онъ сдѣлалъ при своихъ небогатыхъ образовательныхъ средствахъ. Его роль, которую и онъ понималъ, вѣроятно, не иначе, состояла лишь въ томъ, чтобы перенести въ польскую литературу тотъ кругъ философско-литературныхъ интересовъ, какіе въ то время были выработаны преимущественно въ нѣмецкой литературѣ и которыя здѣсь, конечно, не были достаточно извѣстны. Его собственныя симпатіи, какъ замѣчено выше, колебались между двумя направленіями, но онъ тѣмъ не менѣе въ своихъ статьяхъ о классицизмѣ и романтизмѣ наводилъ на вопросы, невѣдомые старой школѣ и развитіе которыхъ содѣйствовало самымъ успѣхамъ новой школы. Въ статьѣ о романтизмѣ и классицизмѣ онъ дѣлаетъ обзоръ главныхъ европейскихкихъ литературъ, начиная отъ грековъ и римлянъ, указывая значеніе важнѣйшихъ историческихъ явленій, имѣвшихъ вліяніе на характеръ поэзіи, и находя, что романтизмъ не есть принадлежность какой-нибудь одной эпохи, а напротивъ, свойственъ поэзіи каждаго народа на ея первоначальныхъ ступеняхъ; изъ новѣйшихъ литературъ онъ видитъ особенное достоинство въ нѣмецкой на томъ основаніи, что она вполне народна и именно

въ этомъ отношеніи ей надо подражать. Въ заключеніе онъ ставитъ вопросъ о томъ, чѣмъ долженъ быть романтизмъ въ польской поэзіи? Для рѣшенія вопроса онъ обращается къ польской исторіи и, не находя въ ней ни рыцарской поэзіи среднихъ вѣковъ, ни кровопролитныхъ войнъ, какими сопровождалось у другихъ народовъ распространеніе христіанства, ни мистической философіи, Бродзинскій заключаетъ, что и польскій романтизмъ не можетъ быть похожъ на нѣмецкій. Характеръ его долженъ опредѣлиться національными свойствами.

„Наше рыцарство,—говоритъ Бродзинскій,—спокойно отдавалось занятіямъ земледѣльческимъ, не подчиняясь однако волѣ и расчетамъ одного лица; независимое, оно единодушно выступало противъ общаго врага.

„Мы были всегда народомъ мирнымъ, земледѣльческимъ. Мы любили свободу, независимость. Мы опередили Европу: наша республиканская форма—единственная въ своемъ родѣ. Учрежденія нашихъ отцовъ—прямой отголосокъ обще-славянскихъ учреждений; въ нихъ мы видимъ тѣ же начала, на которыхъ стремятся устроиться и другія государства.

„При той свободѣ, которою мы пользовались, у насъ такъ мало, сравнительно съ другими народами, совершалось злодѣяній и возмущеній, что по справедливости насъ можно считать народомъ добрымъ и гуманнымъ...”

„Любовь къ свободѣ вмѣстѣ съ самопожертвованіемъ ради блага края были такъ сильно развиты у нашихъ предковъ, что смѣло можно поставить ихъ наравнѣ съ римлянами и греками; религіозность и простота, соединенныя съ этими гражданскими доблестями, напоминая лучшія времена патріархальнаго быта, указываютъ намъ идеаль челоувѣческаго общежитія, къ которому должно придти челоувѣчество послѣ цѣлаго ряда жертвъ и ошибокъ.

„Религія, король съ народомъ и народъ съ королемъ—вотъ всегдашній нашъ девизъ. Древніе производили потомство царей отъ боговъ, а мы гордимся тѣмъ, что наши первые короли взяты прямо отъ плуга; мы величаемъ нашего Казимира Великимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ королемъ мужиковъ“<sup>1)</sup>.

Въ объясненіе своихъ положеній Бродзинскій дѣлаетъ обзоръ польской поэзіи, начиная съ Кохановскаго, которымъ въ особенности восхищается, также какъ псевдо-классическими идилликами, въ которыхъ находитъ уже истинный національный романтизмъ и т. д. Самъ строгій біографъ находитъ въ этомъ очеркѣ поль-

<sup>1)</sup> Стр. 124—125.

свой поэзіи значительную проникаемость и много мѣткихъ сужденій объ исторіи польской поэзіи. Общій выводъ Бродзинскаго состоялъ въ томъ, что не должно разрывать съ прошедшимъ; напротивъ, должно опираться на него, почерпать свѣжіе мотивы для литературы изъ неисчерпаемаго источника народной поэзіи, а также и добросовѣстнаго изученія исторіи, обычаевъ и народнаго характера.

„Какъ поляки, — писалъ Бродзинскій, — какъ христіане, не станемъ искать романтическихъ впечатлѣній въ религіи или въ этихъ ужасахъ мрака, какіе мы видимъ у германскихъ народовъ; какъ люди, любящіе свой край, не будемъ, вспоминая своихъ предковъ, искать образовъ въ рыцарской поэзіи среднихъ вѣковъ; изобразимъ ихъ какъ гражданъ-рыцарей, занятыхъ заботой о своемъ уголкѣ, занимающихся земледѣліемъ, а не сторожащихъ добычу на скалахъ, какъ хищныя птицы; не изъ-за прелестныхъ дамъ, а за свободу родины сражались они, какъ орлы вылетая изъ своихъ гнѣздъ на широкія равнины. Чудныя судьбы нашей родины представляютъ громадное поле для нашей поэзіи. Нашъ романтизмъ — это наши города, слѣды которыхъ прикрыла теперь черная пашня, — наши мрачныя замки, гдѣ жили нѣкогда наши короли, а теперь поселяне прилѣпили къ ихъ стѣнамъ свои убогія избы, — наша столица, въ которой спятъ вѣчнымъ сномъ въ уединенныхъ мѣстахъ наши рыцари, могилы предковъ, которыя встрѣчаемъ мы повсюду на нашихъ нивахъ“ <sup>1)</sup> и т. д.

Сколько бы ни были взгляды Бродзинскаго въ частностяхъ враждебны тогдашнимъ романтикамъ, нельзя не видѣть, что въ этихъ словахъ указаны именно многія изъ темъ, на которыхъ и останавливалась потомъ польская романтическая школа. Какъ увидимъ дальше, Бродзинскій, несмотря на умѣренность и спокойствіе его фантазіи, совпалъ съ этой школой и въ выраженіи крайняго мистическаго патріотизма.

Въ своихъ послѣдующихъ трудахъ Бродзинскій развиваетъ свои мысли о значеніи и достоинствѣ литературы, которая должна служить просвѣщенію и вмѣстѣ оставаться вѣрной народному духу; онъ не преувеличивалъ однако значенія преданій и настаивалъ на необходимости просвѣщенія. Въ „Письмахъ о польской литературѣ“ онъ объясняетъ понятіе *humanitas*, считаетъ гибельнымъ раздѣленіе между точными науками и изящной словесностью, которая, по мнѣнію многихъ, можетъ служить только

<sup>1)</sup> Стр. 128.

для легкаго развлеченія, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности наука, религія, философія и искусства должны быть тѣсно связаны. Одно изъ этихъ писемъ посвящено объясненію понятія народности. Онъ различаетъ любовь къ народности и къ отечеству: „Въ странахъ мало просвѣщенныхъ и дурно управляемыхъ,—говоритъ онъ,—немыслима любовь къ отечеству! Любовь къ своему краю и къ свободѣ—это одно и то же. У насъ же возможна только любовь къ народности. Гдѣ не умерла народность, не все еще пропало“. Служеніе народности должно состоять въ томъ, чтобы „совершенствовать и развивать народность, не передѣлывая однако ея, возбуждать и оживлять воспоминаніемъ прекрасныя чувства отцовъ, возносить то, чего требуетъ просвѣщеніе, отрѣшаясь отъ старыхъ ошибокъ и заблужденій, но и не впадая въ новыя, лелѣять народный языкъ, искусство, литературу, чтобы они были не только пріятны, но и полезны, не слишкомъ увлекаясь, но и не пренебрегая родной литературой, любить ее такой, какой она можетъ и должна быть“.

Въ другой статьѣ, онъ говоритъ о тогдашнемъ политическомъ положеніи польскаго народа: „Мы были въ свое время могущественнымъ народомъ, но судьба и обстоятельства намъ не благоприятствовали. Свобода была слишкомъ раннимъ плодомъ на нашей землѣ; мы не сумѣли воспользоваться ею, не сумѣли ее оцѣнить; другіе сорвали этотъ недозрѣвшій плодъ своею рукою. Мы пали, но не естественной смертію, присущей всѣмъ народамъ,—мы погибли, словно могучій дубъ, сраженный громомъ; остался одинъ пенъ, который начинаетъ теперь пускать свѣжіе ростки, и въ нихъ заключается наша связь съ прошедшимъ, надежды на будущее“...

„Въ настоящее время, побѣжденные однимъ изъ величайшихъ монарховъ, мы получили отъ него право на независимое существованіе и связанную съ нимъ свободу... Мы можемъ имѣть только одну цѣль: стремиться къ нравственному самоусовершенствованію, къ поднятію достоинства народнаго; мы должны догнать народы во всемъ томъ, въ чемъ отстали отъ нихъ въ годину тяжкихъ испытаній. Вотъ мирная, самая спасительная и священная наша задача“. Для достиженія этой цѣли остается литература и въ ней одна дорога—единство и согласіе въ стремленіяхъ; надо оставить всѣ споры и всѣмъ, кто можетъ, идти къ общей цѣли. „Немыслимо, чтобы писатель въ наше время, какъ забіяка, вторгся въ населенныя мѣста, чтобы поразить противника и, похваставшись силою, ожидать затѣмъ одобрительныхъ рукоплесканій толпы“.

возвратно миновало“. „Лучше быть сотрудникомъ въ работѣ на общую пользу, чѣмъ соперникомъ всѣхъ ради личнаго самолюбія“. Онъ воображалъ даже, что литература въ самомъ дѣлѣ можетъ быть соединена въ одинъ, во всемъ согласный и дружный кружокъ: писатели, художники, переводчики и т. д. должны работать по опредѣленной программѣ, для всѣхъ обязательной; по извѣстному правилу должны были издаваться журналы и газеты, должны быть правила для критики и т. д.

„Когда программа будетъ выполнена,—излагаетъ мысли Бродзинскаго біографъ,—настанетъ блаженное время: не будетъ ни „греческихъ философов“, ни „ученыхъ нѣмецкихъ педантовъ“, ни кропателей французскихъ стиховъ; прекратятъ свою работу литературныя фабрики, люди избавятся отъ этой массы огромныхъ фоліантовъ, толстыхъ книгъ и комментаріевъ, прекратится трудовая жизнь челоуѣка и радостный народъ, физически и нравственно обновленный, будетъ предаваться покою, невинности и забавамъ“<sup>1)</sup>.

Конечно, желаніе привести литературу къ такому „единству“ было совершенно простодушно, какъ простодушно было бы надѣяться привести всѣхъ людей къ одному образу мыслей; жизнь литературы есть необходимо борьба, изъ которой и выходятъ ея пріобрѣтенія. На это давно уже и указали критики Бродзинскаго. Эта мечта произошла, безъ сомнѣнія, подъ впечатлѣніемъ того положенія польскаго общества, какое Бродзинскій изображалъ въ приведенныхъ выше словахъ и въ которомъ, по его мнѣнію, единственнымъ спасеніемъ польской народности оставалось полное единодушіе на поприщѣ образованія.

Эти мысли о народности, объ истинномъ романтизмѣ, какой возможенъ и нуженъ для польской литературы, Бродзинскій излагалъ въ обширной дидактической поэмѣ о „Поэзіи“, изданной по частямъ въ 1816 и 1821 годахъ. Здѣсь поученіе писателю, чтобы онъ воспѣвалъ родной край, его природу, простой бытъ его народа, дѣянія предковъ, и проч., опять совпадаетъ съ тѣмъ, что вскорѣ потомъ дѣйствительно изображала романтическая школа. Приводя отрывокъ изъ этой поэмы, біографъ замѣчаетъ: „Эти превосходные совѣты суждено было выполнить не Бродзинскому, а главнымъ образомъ поэтамъ польско-украинской школы, возникшей и развившейся почти совершенно независимо отъ вліяній нашего поэта, тогда какъ только немногія произведенія Бродзинскаго служатъ практическимъ оправданіемъ его тео-

<sup>1)</sup> Стр. 147—151.

ретическихъ положеній. Въ этомъ сказывается главная особенность литературной дѣятельности К. Бродзинскаго. Подъ вліяніемъ нѣмецкой критики онъ высказывалъ такія общія положенія, которыя онъ по своему литературному развитію, по запасу впечатлѣній и образовъ, унаслѣдованныхъ отъ предъидущей поры, не могъ оправдать въ своей поэтической дѣятельности“<sup>1)</sup>.

Другими словами, у него не было для этого достаточно дарованія, но то впечатлѣніе, какое оставляютъ въ самомъ біографѣ нѣкоторыя изъ разсужденій Бродзинскаго и нѣкоторые эпизоды его поэзіи, можетъ свидѣтельствовать, что польскіе критики, у которыхъ, конечно, эти впечатлѣнія были сильнѣе, имѣли право связывать дѣятельность Бродзинскаго съ развитіемъ романтизма.

Къ тому же 1818 году относится еще одно „знаменитое“ произведеніе Бродзинскаго—его элегія о польскомъ языкѣ. Дѣло въ томъ, что въ образованномъ польскомъ обществѣ съ конца прошлаго вѣка очень сильно былъ распространенъ французскій языкъ, и вслѣдствіе того заброшенный польскій языкъ начиналъ грубѣть. Въ томъ настроеніи, какое принимали патріотическія и литературныя идеи Бродзинскаго, онъ не могъ оставаться къ этому равнодушнымъ и посвятилъ свою пьесу скорби объ упадкѣ родного языка и осужденію пристрастій общества къ чужеземному и особливо французскому. По словамъ біографа, именно Бродзинскому должно быть приписано то, что съ этого времени въ польскомъ обществѣ именно произошелъ поворотъ въ пользу родного языка.

„Элегія оказала желанное дѣйствіе на общество, вездѣ стали изгонять изъ салоновъ французскій языкъ, замѣняя его роднымъ, польскимъ.

„Одынецъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ сообщаетъ, что въ началѣ 20-хъ годовъ это стремленіе къ родному сдѣлалось своего рода модой и дошло до крайностей, вызывавшихъ, между прочимъ, неудовольствіе самого Бродзинскаго. Во многихъ домахъ былъ положенъ штрафъ за каждое иностранное слово, произнесенное въ разговорѣ, и кружка, куда собирались деньги отъ штрафовъ, всегда находилась между присутствующими, часто стѣсняя самихъ бесѣдующихъ и дѣлая ихъ бесѣду крайне принужденною“<sup>2)</sup>.

Имя Бродзинскаго называлось обыкновенно въ ряду тѣхъ писателей, которые въ польской литературѣ привѣтствовали славян-

<sup>1)</sup> Стр. 275.

<sup>2)</sup> Стр. 283.

ское возрожденіе, настаивали на изученіи народности и были, наконецъ, въ личныхъ отношеніяхъ съ вожаками возрожденія у западныхъ славянъ, напримѣръ у чеховъ. Біографъ и въ этомъ случаѣ не находитъ у Бродзинскаго той заслуги, какая обыкновенно за нимъ считается. Говоря объ отношеніяхъ Бродзинскаго къ славянскому движенію и вмѣстѣ къ изученію народной поэзіи, біографъ приводитъ вообще такія данныя.

Въ упомянутыхъ выше „Письмахъ о польской литературѣ“ (1820) онъ уже говоритъ о необходимости изученія славянства, указываетъ успѣхи славяновѣденія, дѣлаетъ характеристику славянъ (выписывая ее почти цѣликомъ изъ „Ideen“ Гердера) и выражаетъ намѣреніе сообщать иногда переводы произведеній славянской поэзіи. Онъ съ гордостью говоритъ о славянскомъ племени, простирающемся отъ Эльбы до Камчатки, отъ сѣверныхъ морей до Средиземнаго, и не находитъ оправданія для бѣдности польской литературы свѣденіями о славянскихъ народахъ, „которые входили въ самыя близкія связи съ нашимъ краемъ, языкъ которыхъ и обычаи должны бы насъ интересовать хотя ради пользы нашей литературы“,—и однако „или почти совсѣмъ для насъ чужды, или слишкомъ мало интересуютъ читателей“<sup>1)</sup>.

Извѣстны только отношенія Бродзинскаго съ нѣкоторыми чешскими патріотами, именно Ганкой и Челяковскимъ. Съ послѣднимъ, по словамъ біографа, Бродзинскій близко сошелся, такъ какъ ихъ роднили многія общія черты характера. Въ письмахъ Челяковскаго къ его друзьямъ остались самые сочувственные отзывы о польскомъ писателѣ. Челяковскій восхищается его „Вѣсломъ“ и „Легіонистомъ“. Это—„премилый человекъ и откровенный любитель народной поэзіи“; у него уже много чешскихъ пѣсень въ польскомъ переводѣ; онъ собирается переводить Краледворскую рукопись; онъ сообщалъ, что „общество любителей наукъ въ Варшавѣ собирается взяться за изданіе славянской энциклопедіи, т.-е. такого сочиненія, въ которомъ были бы приняты въ соображеніе всѣ предметы, такъ или иначе относящіеся къ славянству“. Это было въ 1824 году; во второмъ томѣ „Славянскихъ народныхъ пѣсень“ Челяковскаго, вышедшемъ въ 1825 г., находится посвященіе Бродзинскому (что, замѣтимъ кстати, также способствовало репутации Бродзинскаго, какъ любителя славянства), и эпиграфомъ для этой книги взяты слова Бродзинскаго. „Какъ славянофилъ, Челяковскій высказывается опредѣленнѣе Бродзинскаго“,—замѣчаетъ здѣсь біографъ<sup>2)</sup>,—но сравненіе между ними

<sup>1)</sup> Стр. 147, 330—331.

<sup>2)</sup> Стр. 334.

едва ли умѣстно: оба писателя, какъ самыя литературы, которыми они принадлежали, стояли въ совершенно различныхъ положеніяхъ. Для чешскихъ патріотовъ, къ которымъ принадлежалъ Челяковскій панславянская постановка вопроса составляла самую сущность ихъ патріотическаго дѣла, потому что чешское возрожденіе въ этомъ особливо находило опору для защиты ближайшаго національнаго интереса. Въ литературѣ польской дѣло стояло совершенно иначе, — мы видѣли, что самъ Бродзинскій жаловался на равнодушіе польскаго общества къ славянскимъ единоплеменникамъ, на бѣдность польской литературы въ свѣденіяхъ о славянствѣ. Для однихъ панславянство составляло жизненную стихію и орудіе борьбы, для другихъ — болѣе или менѣе случайный интересъ, который могъ быть и не быть, по крайней мѣрѣ не считался необходимымъ.

Біографъ такъ излагаетъ отношенія Бродзинскаго къ Россіи въ связи съ этимъ славянскимъ интересомъ: „Бродзинскаго отнюдь нельзя назвать руссофиломъ. Симпатіи и преданность Бродзинскаго къ Александру I объясняются главнымъ образомъ оппортунистическими соображеніями, но въ его многихъ произведеніяхъ и отдѣльныхъ замѣчаніяхъ вообще нельзя не усмотрѣть нѣкотораго нерасположенія къ Россіи. Въ своемъ курсѣ литературы, въ главѣ о славянахъ, Бродзинскій, говоря о малороссахъ, рекомендуетъ ихъ языкъ вниманію „всѣхъ друзей славянства“ и полагаетъ, что всему славянству было бы много выгодноѣ, еслибы Кіевъ остался центральнымъ пунктомъ южной Руси, какъ столица отдѣльнаго государства. О малорусскомъ языкѣ онъ говоритъ: „это самое чистое и самое близкое къ славянскому нарѣчію; такъ какъ оно до сихъ поръ еще не сдѣлалось языкомъ письменности, то его можно считать по простотѣ выраженій и ихъ богатству равнымъ языку Гомера. На бѣлорусскомъ нарѣчій Бродзинскому извѣстны труды доктора Скорины. Великорусскимъ языкомъ, по мнѣнію Бродзинскаго, начали писать только со времени Петра Великаго. Тѣмъ не менѣе Бродзинскій защищаетъ Трембецкаго, довольно, впрочемъ, умѣренно, полагая, что онъ вполне искренно стоялъ за Екатерину, хотя она въ дѣйствительности „руководилась не славянской идеей, а идеей грабежа“.

Вообще біографъ находитъ, что панславянскіе интересы Бродзинскаго были очень умѣренны: „Бродзинскій прежде всего и больше всего былъ полякъ и горячій патріотъ. Нигдѣ не встрѣчаемъ мы у него и намекъ на идею общеславянскаго языка, волновавшую тогда славянскихъ ученыхъ; никогда бы не поступился онъ сокровищами родного языка ради этой идеи, и отъ Россіи

онъ ждалъ защиты и охраны правъ польскаго языка и народности. Особеннаго увлеченія славянскимъ возрожденіемъ не видно въ дѣятельности Бродзинскаго<sup>1)</sup>. Можно было бы только прибавить, что въ этомъ отношеніи Бродзинскій не отдѣлялся отъ общаго теченія польской литературы не только въ то время, но и донинѣ, потому что собственно славянскія симпатіи въ широкомъ смыслѣ никогда не были въ польской литературѣ достаточно сильны, обыкновенно подчиняясь ближайшему польскому интересу.

Точно также біографъ находитъ, что Бродзинскій очень мало интересовался народной поэзіей. Указавъ, какъ съ конца прошлаго вѣка и въ особенности въ первыя десятилѣтія нынѣшняго въ литературѣ европейской и славянской все больше распространяется изученіе народной поэзіи, біографъ указываетъ и различные труды Бродзинскаго въ этомъ направленіи. Такъ онъ перевелъ знаменитую „жалобную пѣсню“ объ Асанъ-агиницѣ изъ знаменитаго путешествія аббата Фортиса, пѣсню о Радославѣ изъ сборника Гердера, дѣлаетъ переводы изъ Краледворской рукописи, изъ сербскихъ пѣсенъ и т. д., чѣмъ обыкновенно въ тѣ времена и ограничивался интересъ къ этому предмету, — но біографъ на основаніи этихъ фактовъ не считаетъ возможнымъ видѣть въ Бродзинскомъ „усерднаго и убѣжденнаго собирателя народныхъ пѣсенъ“, и въ доказательство приводитъ слова Бродзинскаго, которыми послѣдній старается оправдать свое „смѣлое“ намѣреніе познакомить общество съ народными пѣснями: это оправданіе кажется біографу даже очень легкомысленнымъ. Посылая для напечатанія въ журналѣ сербскія женскія пѣсни, Бродзинскій замѣчаетъ, что выбралъ ихъ потому, что онѣ менѣе другихъ противорѣчатъ съ „теперешними“ (1826) требованіями общаго вкуса, и затѣмъ продолжаетъ:

„Долженъ сознаться, что, хотя собираніе и переводъ на польскій языкъ пѣсенъ братнихъ народовъ и доставляетъ мнѣ при другихъ моихъ трудахъ весьма пріятное развлеченіе, — однако я не безъ колебанія рѣшился исполнить ваше приглашеніе, сообщая свои переводы соотечественникамъ, потому что боюсь, какъ бы эти невинныя произведенія не вызвали криковъ, будто истинному вкусу грозитъ опасность... Я вовсе не думаю, чтобы пѣсни славянъ можно было поставить какъ образцы, и не стану ихъ восхвалять больше, чѣмъ слѣдуетъ; но если англійскія и

<sup>1)</sup> Стр. 336. Замѣтимъ впрочемъ, что идея общеславянскаго языка вовсе не была въ то время такъ распространена, какъ здѣсь представляется біографу; настаивали, напротивъ, на литературномъ развитіи отдѣльныхъ нарѣчій.

нѣмецкія баллады, часто сочиненныя по образцу неудачныхъ народныхъ пѣсенъ, могутъ насъ занимать, то почему бы эти невинныя, милыя братнія произведенія не могли пріятно развлечь и даже нѣсколько повліять на духъ народной поэзіи! Я думаю, что не только у насъ, но и всюду, гдѣ пройдетъ наконецъ помѣшательство на оригинальности, эти естественныя, чистыя, согласныя пѣсни могутъ найти поклонниковъ. Каждый любящій человѣчность и спокойствіе будетъ видѣть въ нихъ прекрасный образецъ невинности и человѣческаго счастья“<sup>1)</sup>.

Біографъ встрѣчаетъ эти слова съ нѣкоторымъ, даже большимъ негодованіемъ. „Итакъ,—говоритъ онъ,—занятіе пѣснями для Бродзинскаго только „милое и пріятное развлеченіе“ между дѣломъ; на литературу же пѣсни только „можетъ быть“ „нѣсколько“ повліяють; да и вообще читать ихъ не вредно, разъ читаетъ публика баллады англійскаго и нѣмецкаго производства! Такое легкомысленно-пренебрежительное отношеніе къ народной поэзіи просто непонятно въ концѣ 20-хъ годовъ этого столѣтія“,—и біографъ припоминаетъ Гердера, припоминаетъ, что даже нашъ Каченовскій, печатаая переводныя статьи Бродзинскаго въ „Вѣстникъ Европы“<sup>2)</sup>, выпустилъ изъ нея многія „слишкомъ легкомысленныя и ни съ чѣмъ несообразныя“ сужденія Бродзинскаго.

Мы не находимъ однако, чтобы выраженія Бродзинскаго въ приведенной выше цитатѣ, каковы бы ни казались онѣ намъ теперь, представляли какую-нибудь особенную ересь для середины двадцатыхъ годовъ. Гердеръ, конечно, здѣсь въ счетъ не идетъ, какъ писатель другой литературы и другого литературнаго уровня; можетъ быть, лучше Бродзинскаго понималъ предметъ Ляхъ Ширма, указываемый біографомъ; но вообще говоря, для двадцатыхъ годовъ отношеніе Бродзинскаго къ народнымъ пѣснямъ не представляется столь исключительнымъ. Повторимъ опять, что, напримѣръ, сравненіе съ западными славянскими литературами было бы здѣсь не вполне уместно по той причинѣ, которую мы уже указывали: тамъ дѣло шло о созданіи литературы за-ново, о возвышеніи достоинства народности, передъ тѣмъ совершенно пренебреженной, почти подавленной; народная поэзія представлялась (какъ напр. у сербовъ) почти единственнымъ правомъ народа на вниманіе въ области литературы; у чеховъ, какъ теперь извѣстно, пришлось сфабриковать древнія поэтическія сказанія для той же патріоти-

<sup>1)</sup> Стр. 342.

<sup>2)</sup> 1826, № 7—8: „О народныхъ пѣсняхъ славянскихъ, изъ письма г-на Бродзинскаго“.

ческой цѣли. Совсѣмъ иное положеніе было въ польской литературѣ, какъ отчасти и въ русской: у поляковъ была уже давняя литература, которая составляла національную гордость безъ этихъ ссылокъ на красоты первобытной народной поэзіи; въ большой массѣ общества было еще много старыхъ классиковъ, для которыхъ народная поэзія вовсе не казалась такимъ совершенствомъ, и, безъ сомнѣнія, Бродзинскій имѣлъ въ виду именно этихъ людей, когда полагалъ, что введеніе народной пѣсни въ обыкновенное чтеніе требуетъ нѣкоторыхъ извиненій (точно также какъ, переводя Краледворскую рукопись, онъ считалъ нужнымъ измѣнять нѣкоторыя слишкомъ реальныя подробности). Вслѣдъ за Гердеромъ нельзя было не оцѣнить значенія народной поэзіи; романтизмъ подаль примѣръ того, какъ можно утилизировать содержаніе народнаго преданія, особливо его фантастику; писатели съ развитымъ инстинктомъ языка должны были оцѣнить оригинальныя богатства народной рѣчи,—но при всемъ томъ значеніе народной поэзіи для самаго существа литературы въ двадцатыхъ годахъ едва ли было понятно. Вслѣдъ за Гердеромъ говорили, что народная пѣсня должна стать основой литературы; но какъ именно содержаніе и форма пѣсни могутъ быть примѣнены къ новому, гораздо болѣе широкому горизонту новѣйшей литературы, это едва ли было ясно. И когда народная пѣсня ставилась непосредственно рядомъ съ этой старой литературой (въ данномъ случаѣ это въ большой мѣрѣ была еще литература псевдо-классическая), любитель народной поэзіи приходилъ въ недоумѣніе: рядомъ съ разнообразными и утонченно обдѣланными формами книжной литературы, рядомъ съ ея содержаніемъ наивная народная пѣсня въ глазахъ обыкновеннаго читателя легко могла показаться мало интересной, даже грубой, и надо было сослаться на англійскія баллады, къ которымъ вкусъ обыкновеннаго читателя успѣлъ уже привыкнуть, чтобы оправдать появленіе пѣсни въ литературномъ журналѣ. Нѣчто подобное было и въ нашей литературѣ, и для примѣра напомнимъ предисловіе Калайдовича къ его изданію „Древнихъ русскійскихъ стихотвореній“, которое отдѣляется отъ статьи Бродзинскаго лишь нѣсколькими годами.

Биографъ указываетъ затѣмъ образчики сужденій Бродзинскаго о славянскихъ народныхъ пѣсняхъ и находитъ, что эти сужденія представляютъ только рядъ общихъ мѣстъ (какъ много такихъ общихъ мѣстъ было говорено о народныхъ пѣсняхъ и многими другими); заслуживаютъ вниманія только замѣчанія о пѣсняхъ польскихъ: „Польскій народъ, — говорилъ Бродзинскій, — не сохранилъ военныхъ (историческихъ?) пѣсенъ, а женскихъ пѣсенъ

меньше, чѣмъ у другихъ народовъ, ни сербской нѣжности, ни малорусской меланхолии. Шляхетское сословіе до излишества размножилось, выдѣлилось изъ народа, придавивъ несчастнаго земледѣльца, который поэтому и не могъ сохранить, не говоря уже о свободѣ и сельскомъ счастьѣ, хотя бы дѣтскую наивность. Роскошь пановъ, развратъ и безобразія мелкой шляхты, которая толпилась при помѣщичьихъ усадьбахъ и для которой крестьянинъ былъ жертвой и забавой,—все это должно было возмутить его внутренній покой, измѣнить его внѣшность и привычки. Притѣсненія, пропинація и евреи довершили остальное“. Біографъ находитъ, что значеніе Бродзинскаго „какъ этнографа“ было ничтожно, но что его переводы народныхъ пѣсенъ правились и что, быть можетъ, они усиливали въ обществѣ интересъ къ народной поэзіи; и въ противоположность ему, біографъ указываетъ романтиковъ, которые стремились уже искать въ народной поэзіи ея внутренняго смысла, и историческаго, и бытоваго, и понимали необходимость идеи народности для національнаго самосознанія, и въ примѣръ приводитъ замѣчательный сборникъ Вацлава Залѣскаго (1833). Но, собственно говоря, Бродзинскій вовсе и не былъ этнографомъ (какъ былъ Залѣскій); онъ былъ только популяризаторъ предмета, который начиналъ занимать важное мѣсто и въ наукѣ, и въ общественныхъ толкахъ о народности. Что его труды въ этомъ отношеніи не были бесполезны, объ этомъ можно судить потому уже, что имя Бродзинскаго въ связи съ этимъ интересомъ проникло въ исторію (повторяясь въ мнѣніяхъ польскихъ критиковъ и историковъ литературы); въ свое время, какъ мы видѣли, его статьи считались поучительными и для русскихъ читателей, которымъ сообщалъ ихъ Каченовскій. Что онъ могъ однако понимать этнографическіе интересы и сочувственно къ нимъ относиться, объ этомъ можетъ свидѣтельствовать разсказъ біографа объ отношеніяхъ его съ Войцицкимъ. Въ 1828 году общество любителей наукъ поручило Бродзинскому разсмотрѣніе представленнаго на конкурсъ сочиненія Войцицкаго о народныхъ пѣсняхъ. „Бродзинскій былъ въ восторгѣ отъ этой работы, съ чувствомъ благодарилъ Войцицкаго за трудъ и подарилъ ему собственный сборникъ народныхъ пѣсенъ и пословицъ. Когда Войцицкій принесъ ему свой сборникъ историческихъ пѣсенъ, Бродзинскій пришелъ въ такой энтузіазмъ, какъ будто это было его собственное сокровище“<sup>1)</sup>.

Не будемъ говорить о педагогическихъ трудахъ Бродзинскаго,

<sup>1)</sup> Стр. 78.

въ которыхъ біографъ также находитъ немалыя достоинства, и отмѣтимъ еще тѣ труды по исторіи польской литературы, въ которыхъ біографъ видитъ одну изъ главнѣйшихъ заслугъ Бродзинскаго: „Самое крупное произведеніе Бродзинскаго, которымъ онъ могъ такъ же гордиться, какъ Карамзинъ своей русской исторіей, это—курсъ критической исторіи польской литературы, первый серьезный трудъ въ польской литературѣ, требовавшій массы энергіи, огромныхъ знаній и рѣдкой любви къ отечественной наукѣ. Въ 6—8 лѣтъ, при массѣ другихъ занятій, выполнилъ Бродзинскій свою задачу въ условіяхъ, крайне неблагопріятныхъ для успѣшнаго ея окончанія. Ученыхъ работъ и пособій по исторіи польской литературы почти не существовало. Всѣ сочиненія по исторіи польской литературы, начиная съ энциклопедіи Красицкаго „O gymnotworcach“, носили характеръ подробныхъ каталоговъ-библіографій, лишенныхъ всякаго научнаго значенія... Въ польской наукѣ царилъ духъ затхлой мертвечины, рутины; преобладало археологическое, нумизматическое направленіе, молодежь неохотно обращалась къ наукѣ, и въ ней безраздѣльно хозяйничали псевдо-классики“. Принявъ раздѣленіе исторіи польской литературы на періоды, установленное ранѣе его Бентковскимъ, Бродзинскій ввелъ нѣкоторыя болѣе цѣлесообразныя измѣненія. „Собственно говоря, Бродзинскій дѣлитъ исторію польской литературы на два главныхъ періода: 1-й до времени Станислава Августа, и 2-й—отъ Ст. Августа до 20 годовъ XIX-го в. Первый періодъ онъ разсматриваетъ историческимъ методомъ, къ литературѣ 2-го періода прилагаетъ критическую и художественную оцѣнку. Въ прошломъ польскаго народа Бродзинскій видитъ необыкновенную цѣльность и единство, характеризующія дѣятельность каждаго гражданина, какой бы девизъ ни выбиралъ онъ: серпъ, оружіе или перо. Это, по его мнѣнію, сказывается и въ литературѣ. Главной заслугой Бродзинскаго слѣдуетъ признать то, что онъ первый обратилъ вниманіе на тѣсную связь исторіи польской литературы и западно-европейской“. Въ настоящее время книга Бродзинскаго, конечно, потеряла значеніе; въ особенности должно было устарѣть изложеніе древняго періода, гдѣ, по весьма распространенной тогда манерѣ, Бродзинскій позволялъ себѣ весьма рискованныя толкованія о древности, дѣлалъ невозможныя словопроизводства и т. п.; но въ замѣчаніяхъ о литературѣ болѣе поздней біографъ находитъ достоинства, и позднѣйшіе историки не однажды повторяли его сужденія. Въ оцѣнкѣ Яна Кохановскаго,—говоритъ біографъ,—Бродзинскій обнаруживаетъ художественное чутье. Онъ признаетъ Кохановскаго вполнѣ народнымъ писателемъ

и, приводя отрывки изъ его „Sobotki“, указываетъ дѣйствительно тѣ пѣсни, въ которыхъ болѣе поздняя критика нашла слѣды вліянія народной поэзіи, — чѣмъ Бродзинскій и указываетъ свою способность цѣнить народную поэзію; ему же первому принадлежитъ честь изученія польскихъ идилликовъ Шимоновича и Зиморовича, на которыхъ онъ впервые обратилъ вниманіе не только польскаго, но и всего славянскаго міра. Вообще „заслуги Бродзинскаго въ дѣлѣ изученія исторіи польской литературы нельзя не признать весьма значительными, и вліяніе его курса могло бы быть даже очень велико, если бы лекціи его были своевременно изданы, а не лежали въ рукописи около 50 лѣтъ“ <sup>1)</sup>.

Лучшимъ временемъ поэтической дѣятельности Бродзинскаго біографъ считаетъ годы 1816—1821. Затѣмъ она ослабѣваетъ и вспыхиваетъ снова къ концу его жизни, въ эпоху польскаго возстанія. „Нѣкоторыя стихотворенія Бродзинскаго, написанныя въ это время, — говоритъ біографъ, — исполнены огня и патріотизма. Правда, поэтъ нашелъ возможнымъ перепечатать и старое стихотвореніе: „Ojciec do syna“ и сочинить новое въ такомъ же духѣ, но на ряду съ ними есть и превосходныя воззванія къ борьбѣ. Поэтъ вызываетъ на бой всѣхъ, торопитъ ихъ, потому что „теперь или никогда“ не завоюютъ поляки самостоятельности и „никто чужой не спасетъ польскаго народа. Довольно веселиться, вести разгульную жизнь, пора настала биться за свободу. Грудь къ груди стойте; какъ одна стѣна, дайте отпоръ насилію; не потеряйте свободы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отчизны“, взываетъ поэтъ. Лучшимъ біографъ считаетъ стихотвореніе: „1830 годъ“, гдѣ очень ярко и въ очень рѣзкомъ тонѣ изображено положеніе польскаго народа, созданное вѣнскимъ конгрессомъ, и привѣтствуется пробужденіе народа <sup>2)</sup>.

Къ той же эпохѣ относятся мистико-патріотическія стихотворенія Бродзинскаго, на которыя біографъ обратилъ особенное вниманіе. Въ поэзіи Бродзинскаго давно уже возникъ особый отдѣлъ произведеній, связанныхъ съ его участіемъ въ польскихъ масонскихъ ложахъ. Первое вступленіе Бродзинскаго въ масонскій орденъ относится еще къ 1815 году, къ самому началу его дѣятельнаго участія въ литературѣ. Масонскія связи послужили тогда, между прочимъ, къ расширенію его литературныхъ и общественныхъ отношеній и повидимому участіе въ „орденѣ“

<sup>1)</sup> Стр. 355—358.

<sup>2)</sup> Стр. 319—320.

понималось имъ серьезно: по крайней мѣрѣ оно отразилось цѣлымъ рядомъ его специально-масонскихъ стихотвореній. Въ польскихъ ложахъ получили, конечно, значительную роль ближайшіе патріотическіе интересы, но было въ нихъ и общее масонское содержаніе—проповѣдь гуманности, дружелюбія и вѣротерпимости, и эта послѣдняя сторона ученія повидимому въ особенности отвѣчала собственнымъ взглядамъ и настроенію Бродзинскаго. Въ 1822 году масонскія ложи, какъ извѣстно, были запрещены въ Россіи, масонская дѣятельность Бродзинскаго должна была прекратиться. Но, конечно, не прекратилось то нравственно-религіозное настроеніе, какимъ онъ былъ проникнутъ, и біографъ дѣлаетъ очень любопытныя указанія о томъ, какъ развилось это настроеніе къ эпохѣ польскаго возстанія.

„Довольно положительное масонское міровоззрѣніе Бродзинскаго къ началу 30 годовъ переходитъ въ особое мистическое настроеніе, возникшее у многихъ польскихъ поэтовъ подъ вліяніемъ тяжелыхъ событій 1830—1831 года, когда душевное равновѣсіе было окончательно нарушено и самыя дорогія, заветныя мечты и надежды поляковъ были жестоко попораны суровой дѣйствительностью. Вѣра въ свои силы была утеряна, польское общество растратило временно всѣ лучшія свои силы, реакція и утомленіе явились на смѣну жизнедѣятельнаго, бодрого романтизма, встрѣчая соотвѣтственный отзвукъ и въ настроеніи европейскаго общества. Вѣра въ Провидѣніе, въ Бога замѣняетъ вѣру въ свои силы и помощь друзей. На этой почвѣ легко создается настроеніе, которое называютъ мессіанизмомъ. Г. Урсинъ справедливо опредѣляетъ мессіаниззмъ какъ вѣру въ благодать и любовь Бога, почившую на данномъ народѣ. Главнымъ представителемъ этого направленія считается Мицкевичъ, но для насъ не подлежитъ сомнѣнію, что основателемъ этого направленія слѣдуетъ признать К. Бродзинскаго, въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ котораго мы находимъ всѣ черты мессіанизма на нѣсколько лѣтъ раньше, чѣмъ появились *Книги пилигримства*“ (Мицкевича).

Бродзинскій уже издавна имѣлъ преувеличенное представленіе о своемъ народѣ, который являлся ему образцомъ совершенства, и въ 1831 году у него возникла идея сравнить воскресеніе возставшаго народа съ воскресеніемъ Христа. Онъ высказалъ эту мысль въ стихотвореніи „На день воскресенія Господня“ и еще болѣе настойчиво въ рѣчи о народности, сказанной 3-го мая 1831 года:

„Народъ польскій,—такъ излагаетъ біографъ эту рѣчь,—

признается въ ней наиболѣе чистымъ и наиболѣе годнымъ для воспринятія небеснаго огня; онъ страдаетъ во имя Христова для блага всего человѣчества. Польскій народъ— „философъ по вдохновенію“, онъ—Коперникъ въ мірѣ нравственномъ. Его терновый вѣнокъ замѣнится вѣнцомъ побѣды; его предопредѣленіе—стать на стражѣ общей свободы и независимости, выстрадать ее для человѣчества среди бури и натиска варваровъ. Въ другомъ произведеніи, „Посланіе къ братьямъ въ изгнаніи“, Бродзинскій идетъ еще дальше въ своемъ мистицизмѣ. Онъ пишетъ, въ духѣ посланій апостольскихъ, къ эмигрантамъ въ такомъ тонѣ, какъ будто онъ отчасти считаетъ себя вдохновеннымъ самимъ Богомъ. Онъ увѣщаетъ ихъ возложить все упованіе свое на Бога, бросить ссоры, партійность, не писать—потому, что и Христосъ немного писалъ: всего одинъ разъ, и то пальцемъ на песокъ. Онъ говоритъ имъ: „намъ нужно сѣять любовь, терпѣніе, отзывчивость, а вы разсѣваете куколь, партіи, ненависть. Жизнь Христа—прообразъ жизни и страданій нашего народа „ради спасенія (т.-е. свободы) человѣчества. „Вѣруйте, что вѣра Христова возсіяетъ во всей своей огненной чистотѣ черезъ Польшу, а Польша вѣрою спасена будетъ. Рядомъ съ мѣстами страданій Господнихъ будутъ поставлены мѣста страданій польскаго народа и рядомъ съ хоругвью ягненка будетъ помѣщена хоругвь съ польскимъ орломъ“. Между всѣми событіями священной исторіи и польской Бродзинскій видитъ поразительную аналогію, и это еще разъ убѣждаетъ его въ томъ, что не слѣдуетъ полагаться ни на свои силы, ни на друзей и союзниковъ, которые, какъ мельничный жерновъ, мелютъ для себя муку, а все упованіе нужно возложить на Бога.

„Буквально, всѣ эти мысли мы находимъ у Мицкевича либо дословно, либо въ дальнѣйшемъ ихъ развитіи. Такъ напр., сравненіе польскаго народа съ Коперникомъ дословно повторено Мицкевичемъ въ курсѣ славянской литературы. Въ особенности же поражаютъ сходствомъ со взглядами Бродзинскаго мысли въ посланіи Мицкевича „Книги польскаго пилигримства“. Такимъ образомъ, намъ кажется, не подлежитъ сомнѣнію, что въ основу мессіанизма Мицкевича положены взгляды, не разъ высказанные еще Бродзинскимъ, и на это обстоятельство въ исторіи польской литературы и до сихъ поръ еще не было обращено должнаго вниманія“<sup>1)</sup>.

Въ заключеніе авторъ собираетъ итоги своихъ сужденій о

<sup>1)</sup> Стр. 359—368.

Бродзинскомъ. Главныя изъ этихъ сужденій мы видѣли. Онъ вообще не соглашается съ обще-распространеннымъ у польскихъ историковъ высокимъ мнѣніемъ о Бродзинскомъ и находитъ противъ этого мнѣнія много возраженій. Собственно литературное, поэтическое значеніе Бродзинскаго было очень невелико: онъ не былъ подготовителемъ романтической школы, которая образовалась мимо его вліяній; въ его идеяхъ не было самостоятельности: наиболѣе цѣнными являются только его политическія и историческія тенденціи, имѣвшія вліяніе на польское общество, которое плохо знало свою исторію. Выходитъ такимъ образомъ, что относительно Бродзинскаго у историковъ польской литературы произошло большое недоразумѣніе. Онъ имѣлъ и имѣетъ однако очень популярное имя и, по мнѣнію біографа, это объясняется такъ: „Популярность Бродзинскаго и рѣдкое единодушіе польскихъ критиковъ въ общемъ хорѣ лестныхъ о немъ отзывовъ объясняется, по нашему убѣжденію, тѣмъ, что Бродзинскій былъ средній писатель, средняго ума, средняго таланта и, какъ таковой, долженъ былъ пользоваться извѣстностью въ широкомъ кругѣ посредственности“. Самый успѣхъ историческихъ тенденцій Бродзинскаго объясняется слабымъ развитіемъ польскаго общества въ этомъ отношеніи: „серьезный трудъ при ничтожномъ умственномъ развитіи былъ этому обществу не по силамъ; поэтому, кажется намъ, оно и было падко на тѣ скороспѣлые выводы и обобщенія, которые удовлетворяли современнымъ потребностямъ историческаго и государственнаго инстинкта и въ то же время, какъ это было, напр., въ произведеніяхъ Бродзинскаго, льстили національной гордости“. Наконецъ авторъ говорить: „Какъ самый лучшій выразитель переходной поры, какъ человѣкъ лично необыкновенно привлекательный и гуманный, Бродзинскій невольно внушаетъ къ себѣ симпатію; неутомимый труженикъ, полезный популяризаторъ европейской литературы и критики, онъ заслуживаетъ глубокаго уваженія. Особенно велика заслуга Бродзинскаго въ дѣлѣ выработки и совершенствованія польскаго языка, и въ этомъ отношеніи его дѣятельность такъ же почтенна и полезна, какъ и дѣятельность Линде. И какъ у насъ въ свое время романтики считали Карамзина своимъ, такъ и польская молодежь съ уваженіемъ и любовью смотрѣла на Бродзинскаго и хотя понимала, что онъ не во всемъ ей сочувствуетъ, все же видѣла въ немъ своего друга и хотѣла хотя отчасти признать въ немъ своего руководителя“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Стр. 373—374.

Во всемъ этомъ есть своя доля справедливаго, но въ теченіе обзора книги г. Арабажина намъ случалось уже встрѣчаться съ подробностями, гдѣ ему самому приходилось нѣсколько ограничивать свои отрицательныя заключенія. Намъ кажется, что извѣстное ограниченіе должно быть принято и относительно его общаго вывода. Нѣтъ спора, что Бродзинскій не принадлежалъ къ ряду умовъ самобытныхъ и творческихъ, но въ историческихъ успѣхахъ общества и литературы, на извѣстныхъ ступеняхъ ихъ развитія, бывають иногда нужны силы иного рода, не созиданіе системъ, а распространеніе знаній и укрѣпленіе нравственнаго чувства. Историческое значеніе дѣятеля опредѣляется не только абсолютной цѣнностью его идей, но и отношеніемъ ихъ къ той средѣ, въ которой онъ дѣйствуетъ, и вопросъ отъ условій, по видимому частныхъ и тѣсныхъ, сводится къ общимъ и широкимъ. То общество, для котораго работалъ Бродзинскій, которое имъ увлекалось, представляло собою цѣлую историческую ступень польской образованности: это объясняетъ и самый характеръ дѣятельности Бродзинскаго. Біографъ упрекаетъ его въ несамостоятельности, въ эклектизмѣ, что онъ заимствуетъ то изъ Гердера, то изъ Канта, то изъ Шлегеля; но дѣло въ томъ, что эти Гердеръ, Кантъ, Шлегель были неизвѣстны или почти неизвѣстны массѣ польскаго общества и представляли собою ту болѣе высокую степень образованія, которой польское общество не имѣло и въ которой, конечно, нуждалось. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы у поляковъ явился собственный Кантъ или Гердеръ, но высокія явленія человеческой мысли и самаго искусства могутъ произойти только на заранѣ подготовленной почвѣ, и такой почвы Польша того времени, конечно, не имѣла. Она еще должна была проходить предварительную школу путемъ несамостоятельности и эклектизма, и въ такія эпохи дѣятельность писателей, какъ Бродзинскій, бываетъ неизбѣжна и вмѣстѣ плодотворна. Мы упоминали выше, что съ польскою литературой въ этомъ отношеніи сходилась, на примѣръ, и наша литература: съ тѣхъ поръ, какъ въ ней поставленъ былъ вопросъ объ усвоеніи европейскаго образованія, она въ теченіе долгаго періода, продолжающагося почти донинѣ, шла такимъ же несамостоятельнымъ путемъ, повторяя тѣ ученія и литературныя направленія, какія она заимствовала изъ литературы западно-европейской. Въ такихъ случаяхъ недостатокъ самостоятельности есть черта не личная, а принадлежащая цѣлому періоду образованности.

Обращаемся къ самому исполненію книги. Мы замѣтили уже, что авторъ съ большимъ вниманіемъ изучилъ свой матеріалъ и далъ

весьма обстоятельное изложеніе предмета. Манера изложенія — та, какая особливо распространяется въ послѣднее время и имѣетъ свои достоинства и недостатки. Авторъ нерѣдко обстоятеленъ до излишества, сообщая подробностей больше, чѣмъ ихъ требуется для опредѣленія даннаго обстоятельства; отсюда длиннота, ненужная для объясненія дѣлъ. Для примѣра укажемъ то, что говорится въ біографіи о личныхъ отношеніяхъ Бродзинскаго и его знакомства (стр. 71): читатели, къ которымъ обратится авторъ, въ огромномъ большинствѣ, конечно, не имѣютъ понятія о тѣхъ „извѣстныхъ“ и даже „знаменитыхъ“ лицахъ, которыхъ перечисляетъ авторъ, какъ „знакомыхъ“ Бродзинскаго. Здѣсь, какъ въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ вмѣсто этой номенклатуры полезнѣе было бы расширить общія указанія о характерѣ и составѣ тогдашняго польскаго общества и литературныхъ круговъ. Въ разборѣ „міровоззрѣнія“ Бродзинскаго, въ характеристикѣ его понятій философскихъ, психологическихъ, эстетическихъ, литературно-теоретическихъ, біографъ, какъ будто забывшій на этотъ разъ о „несамостоятельности“ и „эклектизмѣ“ Бродзинскаго, сличаетъ его воззрѣнія прямо съ идеями Аристотеля (даже цитируемаго на греческомъ языкѣ), Канта, Лессинга и др., приводитъ даже мнѣнія новѣйшихъ ученыхъ о разныхъ вопросахъ психологіи, эстетики и т. п., когда нужно было только указывать непосредственные источники Бродзинскаго и ихъ повтореніе развитіе въ его изложеніи.

Укажемъ еще нѣсколько подробностей — ошибочныхъ или вызывающихъ недоумѣніе. Въ исчисленіи литературы о Бродзинскомъ между прочимъ читаемъ: „среди всѣхъ очерковъ Бродзинскаго въ курсахъ польской литературы болѣе мѣткій, *нельзя не сознаться, все-таки* принадлежитъ г. В. Спасовичу въ его извѣстной книгѣ по исторіи польской литературы“. Непонятно, почему для біографа такъ тяжело въ этомъ сознаться <sup>1)</sup>. Неловкія сближенія, какія дѣлаетъ авторъ по поводу теорій Бродзинскаго и которыя косвенно побуждаютъ автора повышать критическія требованія, повторяются, когда, говоря о наступленіи полной зрѣлости его дарованія, авторъ вспоминаетъ для сравненія съ Бродзинскимъ о Байронѣ, Шиллерѣ, Мицкевичѣ и Пушкинѣ <sup>2)</sup>. Карлсбадъ называется по-чешски не Королевы-Вары (стр. 333), а Карловы-Вары.

Но вообще, повторимъ опять, трудъ г. Арабажина исполненъ

<sup>1)</sup> На страницѣ 334 авторъ заставляетъ В. Д. Спасовича говорить о Бродзинскомъ, какъ объ „измѣнникѣ“, когда онъ, по поводу одного его произведенія, называетъ его только „космополитомъ“.

<sup>2)</sup> Стр. 288.

съ такимъ стараніемъ, съ такой большой начитанностью для начинающаго ученаго, что мы въ правѣ ожидать отъ него дальнѣйшихъ полезныхъ трудовъ въ области исторіи литературы. Онъ самъ замѣчаетъ, что русское славяновѣденіе не можетъ похвалиться достаточнымъ знакомствомъ съ польской литературой: разѣ проживши не мало труда на ея изученіе, авторъ легко могъ бы продолжить свои изслѣдованія въ той же области, но, въ виду указаннаго нами положенія вещей въ нашей литературѣ, было бы желательно, чтобы въ дальнѣйшихъ работахъ онъ обратился къ болѣе крупнымъ явленіямъ польской литературы, а не къ ея второстепеннымъ эпизодамъ.

А. Пыпинъ.



F. 7694